

АРНЕ ГАРБОРГ

УСТАЛЫЕ
ЛЮДИ

Арне Гарборг

Усталые люди

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=25068924

Аннотация

«Друзья – плохая порода. Они на то лишь и годны, чтобы у вас обедать, да стоять, повесив головы, перед вашей могилой. Последнее исполняют они всего охотнее. „Наконец-то мы от него избавились!“ думают они среди вздохов, и в радости своей способны даже собрать по подписке крон 200 в пользу вдовы. Так (приблизительно) говорил я адвокату Ионатану, сидя с ним после обеда за бургундским (настоящим бургундским, – у этого малого есть-таки сношения!) и он, по обычаю своему, принялся читать мне мораль...»

Содержание

Введение	4
Часть I	14
I	14
II	18
III	25
IV	30
V	40
VI	44
VII	47
VIII	56
IX	64
X	74
XI	77
XII	82
XIII	88
XIV	95
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Арне Гарборг

Усталые люди

Введение

(½ 1885 г. Полночь).

Друзья – плохая порода. Они на то лишь и годны, чтобы у вас обедать, да стоять, повесив головы, перед вашей могилой. Последнее исполняют они всего охотнее. «Наконец-то мы от него избавились!» думают они среди вздохов, и в радости своей способны даже собрать по подписке крон 200 в пользу вдовы.

Так (приблизительно) говорил я адвокату Ионатану, сидя с ним после обеда за бургундским (настоящим бургундским, – у этого малого есть-таки сношения!) и он, по обычаю своему, принялся читать мне мораль.

– Самолюбивые люди устраиваются так, чтобы не нуждаться в друзьях, – сказал он.

– Ну, я то во всяком случае всегда нуждался в них, – заметил я, – да, может статься, был-бы рад воспользоваться ими и в настоящую минуту, но... с ними то же, что с полицейскими, когда они нужны... Не раз уже дивился я, куда это они деваются?

Георг Ионатан погладил свои усы и заговорил, слегка на-

мекая на мою нарождающуюся луну:

– Спросите-ка лучше, друг мой, куда деваются волосы на вашей голове? Они просто-напросто выпадают один за другим. Вы этого и не замечаете, пока в один прекрасный день не откроете, что вам, пора начать носить парик или же организовать карточный клуб.

– Да, да, они отпадают. Или, лучше сказать «прорастаешь сквозь них», отряхаешь их с себя по мере того, как растешь. Знает. Бог, по временам я чувствую в них сильный недостаток, но если бы мне и удалось вернуть их, я все равно не захотел бы прибегнуть к ним. Встретясь случайно с кем-нибудь из них, я только и нахожусь сказать, что «не зайдем-ли к Ингебрету выпить абсенту»? И сидим мы у Ингебрета с час времени, толкуем о погоде, о ветре, да о последнем скандале, и чувствуется, точно между нами образуется какая-то пустота. Просидев так около часу и проморозившись в этом чувстве, мы встаем и говорим друг другу с некоторым облегчением: «Прощай, старина, Господь с тобою!»

Дружба есть тончайший вид эгоизма, – гораздо тоньше, например, любви: тут люди прямо стремятся поглотить друг друга, хотя бы только духовным образом. Тем не менее, дело кончается тем, что, пожрав друг друга, они бросают остатки в мусорную кучу. Оглядываясь назад, я вижу много обглоданных остовов, брошенных мною на различных стадиях моего жизненного пути. Думаю, что и сам я валяюсь обглоданным во многих-таки мусорных кучах.

Настоящих друзей человек имеет только в лета зеленой молодости, до встречи со своею первою любовницею. Ну, допустим, даже до встречи со второю, потому что первая представляет еще столько интереса, что необходимо иметь кого-нибудь, с кем бы можно было говорить о ней и о своих замечательных способностях в Дон-Жуановском роде. Но едва только перешагнешь за двадцать лет, как начинаешь вырастать из них, начинаешь приобретать угловатость и черствость, и тут-то начинаются эти диссонансы между друзьями, которые приводят к разрыву или разлуке. Во всяком случае, для человека в 38 лет уже не существует друга, перед которым можно было бы излить свое любовное горе.

Вместо того, чтобы молчать, кивать и понимать, они говорят: «ха-ха! вот ерунда! Какая-то детская история! Не вздумай, пожалуйста, впасть из-за этого в чахотку!» Или-же вас прерывают и рассказывают вам свое собственное игривое похождение, – историю из совсем другого этажа, Наконец, просто уклоняются от разговора какою-нибудь парой ничего не значащих слов, и продолжают: а кстати, о другом: что скажешь ты о министерстве Сведрупа?

– Ох!..

– ...Тс!.. шаги на лестнице...

– Глупости!.. Еще стаканчик, и – в постель!

(*Воскресенье утром*).

...Георг Ионатан – интеллигентный товарищ и спокойный малый; он мне нравится. Что же касается до откровенности?... Как бы не так! Его холодная, «английская» мина во все не предрасполагает к этому, и он совсем не интересуется единичными случаями. Для него каждая любовная история превращается в «общественный вопрос»: Когда женщины станут более интеллигентны... когда они научатся понимать, что им дана только одна жизнь и в этой единственной жизни одна только молодость... Но мне-то от этого ведь не легче. Ведь она же *не была* так интеллигентна, и в результате я теперь хожу и вздыхаю; ничего нет для меня столь убийственно безразличного, как вопрос о том, что будут делать или думать «женщины» в будущем столетии.

Я скорблю за себя, за нее, за весь мир. Эта коротенькая, смешная история, которая даже вовсе не была никакой историей, положительно выбила из колеи все мое существование. Я был тем самыми, «самолюбивым», помирившимся со своею участью человеком, – точь-в-точь по рецепту Георга Ионатана; но нужно было только случиться этому, – и «примирения» как не бывало.

Это «примирение» была чистая ерунда. До тридцатого года своей жизни можно еще жить, утешаясь и успокаиваясь

на том, что в будущем люди будут же, наконец, счастливы, но когда приближаешься уже к сорока годам, какой-то голос внутри тебя начинает говорить все громче и громче: «ты, ты, ты-то сам должен же был жить!..»

Я – какой-то одинокий звук, какая-то простая, бедная мелодия, которая требует, *требует* себе гармонии. Мое психическое музыкальное ухо страдает до безумия, всегда и вечно слыша эту одинокую, жидкую, однообразную ноту, звучащую в пустынной атмосфере существования... Она *была* моей гармонией, к сожалению, не полной, не довольно чистой... И теперь эта одинокая нота звучит в пустыне моего существования еще большим одиночеством, еще большею грустью и заброшенностью...

* * *

(Вечер).

...Если бы это была по крайней мере хоть настоящая любовь! Но всего смешнее и невероятнее в моем несчастье то, что я даже и не любил.

Ни à la Ромео, ни à la Вертер. В том-то и беда, что когда человек перевалил за тридцать лет, то даже и любовь перестает быть слепа.

Я был до жалости влюблен, а между тем глаза мои были открыты. Я видел ясно, до боли, все её недочеты, все то, что в ней становилось мне поперек дороги. Если бы я мог вер-

нут назад мою последнюю, ужаснейшую глупость и если бы я не имел такой уверенности в том, что она любила меня... захотел ли бы я? решил ли бы я?... Не думаю. Хотя... Да, но если бы дело обстояло так, как тогда? Нет. Я был недостаточно цельным человеком. Я это знаю. Это какая-то мучительная, болезненная, раздвоенная любовь, какое-то расщепление всего моего существа: чувства и душа захвачены, увлечены, но сознание холодно, ясно, насмешливо, – позорно озлоблено на то самое увлечение, которого я все же не в силах победить.

Это был бы в состоянии понять это? Кто среди этих топорных, узколобых, наивных матросских натур и всей богемы, не исключая и Георга Ионатана...

Глупости! Мне надо сделать то, что я делаю обыкновенно; мне надо разыграть писателя, – довериться бумаге. Она по крайней мере не ответит пошлостью. А, может быть, в конце концов из *этого* вышел бы даже и роман? Мои прежние заметки лежат без употребления; они надоели мне; энергии не хватило... но, на этот раз, кто знает? Когда-нибудь, когда я буду так стар, что мне уж решительно нечем будет наполнить свое существование, тогда я, может быть, в состоянии буду сосредоточиться... Во всяком случае я буду писать; это облегчает, помогает. Я представляю себе, что я пишу для кого-то, перед кем-то высказываюсь, а это во всяком случае в данную минуту главное.

...Только бы она не слишком горько рыдала у дверей се-

ГОДНЯ НОЧЬЮ...

* * *

(Воскресенье утром).

«У меня грехов, что песку в морях!»

Еще полбутылочки пива.

«Он ищет себе матери». Под этим заглавием я мог бы написать фарс-трагедию, взяв героем самого себя.

«Требуется мать.

Ловкая и опытная мать может получить занятия. Достаточный запас кротости во все время сношений с кандидатом на смерть. Без наилучших рекомендаций не обращаться! Эксп. газет».

Глупости; это никуда не годится.

Предостережение!

«Голодные ученики-живописцы, литераторы и т. д., и т. д. предупреждаются о том, что я постоянно ношу с собою 100 крон (основательно припрятанных) вместе с письмом, адресованным на имя друга, из которого явствует, что я умираю от собственной руки...»

Ах, да что же это такое? Идиотизм? Алькоголизм?...

Нет! это никуда не годится! Это предполагаемое лечение хуже самой болезни. Я прямо превращаюсь в идиота, в сумасшедшего...

С отчаянной, неумолкаемой болью в сердце сижу я тут,

среди наших бандитов, и томлюсь по ней. Самым жалким, самым отчаянным, собачьим, свинским образом жаждет язык мой произнести её имя, жаждет случая сказать кому-нибудь, кто знает ее, кто может встретиться с нею, жаждет сказать ему что-нибудь такое, что могло бы выдать меня, выдать ей мою смешную, мою достойную смеха любовь! Но все они так вульгарны, так пошлы, говорят только о продажных женщинах и о синих чулках; Блютт выпускает свои жалкие остроты, а Бьельвик сидит и чертыхается и бурчит что-то о своих рукоятках к насосам... Я пью и пью, запиваю свою муку; пока не потеряю терпенья; наконец, вскочу и пойду своей обычной дорогой; Матильда, Матильда!.. Даже самая ограниченная женщина лучше поймет постигшую меня напасть, чем эти пошлые мужчины. Разумеется, её нет дома, этой дуры; и как раз нет дома именно в этот вечер! Не может быть и речи о том, чтобы пойти в какое-нибудь добродетельное, скучное общество; мне нужен кто-нибудь, с кем бы я мог говорить, сумасбродствовать, открыть мое истекающее кровью сердце, хотя бы перед... Эх!

Я хочу писать о ней. Писать о ней все. Вновь все пережить. Очиститься, освежиться в этой чистоте. Сосредоточиться: набросал первый план моего романа. Собрать, привести в порядок все эти заметки и впечатления, которые нацарапал я за время этих последних лет... Да, это утешительная мысль! Писать о ней, все, все писать о ней, погрузиться и потонуть в этих мелких, бесценных, восхитительных, глупых воспоми-

наниях, – больше мне ничего не нужно!.. А тем временем она сидит тут, позади меня, и смотрит мне через плечо; с удивлением смотрит на эти дорогие мне предметы своими темными, глубокими глазами. О, я несомненно чувствую ее; она здесь; особенно по вечерам; тогда нередко слышу я вблизи себя её дыхание... Это послужит мне способом вступить с нею в сношения, корреспондировать с нею!.. Господи Боже! да ведь я-же сумасшедший! Но почему-же бы и не быть сумасшедшим?.. Хорошенько запири двери! Изо дня в день будет это мне работой и обществом; и тогда бандиты пусть их отправляются, куда знают, хоть к черту!

Итак, освобожден... пока.

О, эти старые записные тетради, с их едва четкими заметками карандашом, и все эти уморительные, разрозненные бумаги, свертки, оборвыши писем, большего формата листы и маленькие, тоненькие листочки почтовой бумаги, на которых я в часы одиночества записывал впечатления дня, пережитые чувства, фантазии, настроения! Почти каждый лоскуток и каждая заметка связаны с особым определенным воспоминанием. Вот это написал я на том или другом стволе срубленного дерева, где сидел я, ожидая условленного часа или-же сердясь на то, что нечего было ждать мне в этот вечер; вот то написал я там наверху, в лесу, или на пне у Эксберга, – где я сидел и старался забыть; это-же опять-таки написано в одинокий полуночный час здесь, дома, когда я, сидя за последним стаканом и последней папиросой, делал

обзор только-что миновавшему дню. Неопределенными сентиментальными настроениями веет от этих разнообразных записок и они окутывают меня каким-то сладким непроницаемым туманом.

Часть I

I

...Это полное спокойствие, даже холодность, в то время, когда я с нею, когда она действительно тут! Это почти невероятно. Неужели я уж *так* стар? Она, несомненно, красива. Ну, это просто-напросто потому, что я, находясь вблизи неё, ясно вижу ее такую, «какая она, действительно, есть»; нет уже более идеализирующей отдаленности, нет той обманчивой воздушной области, которая придает такую романтическую дальность далеким высотам.

Прекрасная идея с моей стороны, со стороны немолодого, изжившегося господина, устроить такой духовный брак, такое идеальное сожитительство, где нет ни следа ничего обыденного, мещанского, того, что доступно любому самцу с любовью самкою: ничего эротического! Такие отношения имеют свою особую привлекательность. Чувствуешь себя свободно; она не получает права предъявлять какие бы то ни было требования эти отвратительные, мучительные требования, которые обыкновенно предъявляет любимая женщина влюбленному в нее мужчине; приходишь и уходишь, когда хочешь, держишь себя, как хочешь; тут не может быть и речи об «измене» или подозрениях, а, следовательно, и о сценах

и обо всей той сумятице и путанице, в которую постоянно вовлекает любовь. Свобода-же, во всяком случае, есть величайшее благо.

А в то-же время все-таки нечто пикантное, что-то неопределенное, «обещающее»... Уже одна замена старых, приевшихся собутыльников молодой, умною женщиною представляет собою колоссальную выгоду. В женщинах есть какое-то особое, раздражающее свойство, что-то своеобразное, та «женственность», которая уже сама по себе оказывает оживляющее действие на мужчину, что-то такое, что в одно и то-же время возбуждает и умиротворяет, пробуждает некоторую сентиментальность и в то-же время не дает засыпать более благородным инстинктам. Вот это-то, вообще говоря, и навело меня на такую сумасбродную идею; такой старый холостяк, как я, должен был не раз чувствовать недостаток в этом женственном (в противоположность «игривому») элементе в своих случайных и мимолетных связях.

Что особенно своеобразно и приятно в этой девушке, – это полное отсутствие всего того, что хоть сколько-нибудь напоминало-бы о кокетстве... Она производит охлаждающее, почти строгое впечатление; при полном отсутствии чопорности, во всем её существе есть что-то отстраняющее, невозмутимое; в ней тоже, вероятно, нет никакой склонности ни к чему эротическому. В ней нет никакой навязчивости, прилипчивости, отличающих большинство этих девочек, – тех, что только тем и живут, что вечно ждут чего-то

необыкновенного, которые вешаются человеку на шею, не дав ему даже опомниться. Это – худенькое, бледное, почти угловатое существо; рот её легко принимает слегка насмешливую складку, тоже действующую охлаждающим образом (Она слишком много смеется, это не хорошо... Ну, совершенства, ведь, нигде не найдешь!).. В общем она самоуверенна и весьма определенно дает понять, что знает себе цену.

Она не из тех, что готова отдаться первому, кто протянет за него руку; это тоже производит очень хорошее впечатление. Я, которому уже несколько понадоели глупенькия толстенькия девочки с их незамысловатым кокетством, я чувствую, что меня сильно привлекает эта отчасти английская, отчасти гувернанткообразная манера, хотя, собственно говоря, по существу, она вовсе не в моем вкусе. Потому-то, слава Богу, не может быть тут и речи о какой-нибудь настоящей влюбленности (Позднейшее примечание: ха, ха!).

Но большие, темные, те особые, свойственные только слабогрудым людям, глаза представляют замечательную, поразительную противоположность всей её внешности; они говорят о том, что, однако же, и под этим снегом, может быть, кроется вулкан, и что её уверенность в себе при встрече с мужчиной может иметь другие основания. Вообще говоря, в глазах её есть что-то, что наводит на сомнение. Несомненно верно, что она есть именно то, чем она кажется; но нет ничего невероятного в том, что она могла-бы быть одною из отчаяннейших кокеток. Во всяком случае, эта почтенная особа

вовсе не наивная девочка; для этого у неё через-чур определенная манера говорить о некоторых вещах и нет недостатка в сведениях. Невероятно, до чего не похожа она на того маленького, желтоносого цыпленка, с которым когда-то носился мой сумасбродный друг Оз; за это время она успела-таки кое-что пережить и испытать. Неприятно, а между тем чисто по-женски действует она на меня, когда старается уверить меня, будто у неё никогда не было никакой романической истории; – это все они говорят. Я уверен, что если бы человек женился на вдове, имеющей семерых детей, и в свадебную ночь спросил-бы ее, случалась-ли с нею когда-нибудь подобная история, она невольно воскликнула-бы: «уверяю тебя, нет! Как можешь ты это думать?»

Но как-бы то ни было, – я пока еще свободен. Я ничем еще не связан и ничем не свяжу себя. Это – товарищество на свободных основаниях. Я дам ей время высказаться вполне, и тогда можно будет основательнее обдумать это дело: если окажется, что стоит того, то можно будет пойти и дальше; в противном-же случае, все расстроится само собою. Пока-же я счастлив, найдя хоть кого-нибудь, кто до известной степени интересуется меня; «жить» ведь и значит – быть заинтересованным.

II

– И вы, действительно, могли выносить такую жизнь? Из году в год... и ни одного события, которое-бы серьезно заинтересовало вас?

– Да, разумеется, я выносила это.

– Невероятно!

– Тем не менее, это правда.

Пауза. Потом она улыбается и говорит:

– Когда я была маленькая, я, разумеется, думала, что вся моя жизнь будет сплошной интересный роман. С принцами, графами и тому подобными... Но потом она оказалась не более, как жалкой сумятицей, в которой нет ни следа какой-бы то ни было последовательности. Ни на полшиллинга смысла или интереса. И так будет продолжаться и впредь (Я: гм.?). Да, в ней ничего не изменится, только, разумеется, все будет идти хуже и хуже, по мере того, как я буду стареться. А потому я стараюсь думать, что эта, так-называемая, земная жизнь составляет только первую часть этого романа; а ведь вы-же знаете сами, что первая часть бывает часто очень запутана; ничего нельзя понять; одно кажется еще глупее другого; но когда доберешься до второй части, начинаешь уже понемногу понимать и, наконец, когда покончишь со всеми частями, то увидишь, что все это представляет связное целое. Таким образом, я представляю себе, что мы должны бу-

дем пережить несколько жизней, переселяться с одной планеты на другую (Да вы, вероятно, читали Фламариона?); и, таким образом, жизнь моя, в конце-концов, все-же окажется интересным романом, понимаете?

– Что касается меня, то я замечу на это, что мне уж, конечно, более чем довольно и первой части.

– Да, но я *верю* в Фламариона! Я *хочу* в него верить!

– И держитесь вашей веры! Вера дает человеку блаженство.

– Уж как-же мне досадно на вас. Неужели вы, действительно, не верите в Фламариона? О, пожалуйста, скажите, что вы верите; скажите, что верите и вы также!

– Ни капли не верю!

– Ах, как-же вы неправы!

– Но ведь это-же не может помешать вам верить?

– Да, потому что ведь и я только нисколько в это не верю. (Смех).

(У памятника Вергеланда). *Она*. Не правда-ли, самое величайшее благо.

На свете – быть поэтом?

Я. О... Чего-же достиг он, например? Кто читает его? – Какая-нибудь пара знатоков литературы. Что внес он нового? Он ввел в нашу землю евреев; это, по-видимому, наибольшее из всего, что он сделал. Остальные его идеи были переполнены и затоплены романтикой и церковностью. Деятнадцатое столетие в Норвегии создано вовсе не Генриком

Вергеландом, а Гансом Гауге¹. О, нет; это мало к чему приводит. Надо писать резцом... и писать не чернилами, а кровью... если хочешь сделать хоть какое-нибудь впечатление на эти мотки шерсти, которые люди носят в черепахах вместо мозгов.

* * *

Она (воскликая). Возможно-ли? Неужели вы действительно были в Париже? О, расскажите, расскажите... О, вы, счастливый человек, действительно побывавший в Париже!

Я. Рассказать о Париже? Тс... Там масса улиц и некоторые из них очень длинны. Некоторые из них также очень широки с аллеями по бокам; их называют бульварами.

Она. Да, и затем там такое множество больших блестящих магазинов с шелками и золотом, и брильянтами... настоящими, неподдельными брильянтами.

Я. О, да, великолепно! А потом там еще есть широкая площадь с обелиском и большими фигурами из камня; и много других широких площадей; а потом – Сена.

Она. Да, Сена! Как она должно быть величественна!

¹ Ганс Нильсен Гауге был основателем религиозного движения в народе. Своими проповедями в стиле методистов противодействовал он господствовавшему в стране рационализму, приходил не раз в столкновение с церковью, был неоднократно подвергнут тюремному заключению. Он умер в 1824 году, 53-х лет от роду. Тем не менее, движение, поднятое им, продолжало существовать, и не исчезло еще и до настоящего времени. *Пр. пер.*

Я. По меньшей мере раза в четыре шире Акера и по меньшей мере раз в восемь его грязнее.

Она (с разочарованием). Грязнее?..

Я. Ужасна! Изжелта-зеленая... Да, Париж восхитителен. Я надеюсь еще не раз побывать там и, главным образом, для того, чтобы посмотреть на прелестные дамские костюмы.

Она (нерешительно). Как так?

Я. Да. Такие, действительно изящные костюмы, видите-ли... действуют прямо-таки, как какая-нибудь музыкальная пьеса; там все ритм, гармония, грация; они хватают за сердце, как благозвучный, грациозный, безумно-увлекательный аккорд... Чистота, нежность, изящество, деликатность и, черт возьми! Я не нахожу слов! Но это прелестно. Конечно, и изящный мужской костюм тоже, слава Богу, иногда встречается; но мужские костюмы всегда были и останутся лишенными всякой поэзии; женское тело с его мягкими линиями и гармоничной округленностью представляет собой совершенно иной, гораздо более благодарный материал для композиции, чем прямолинейная, суровая мужская фигура.

Пауза.

Я (продолжая). Но зато ужасно возвращаться домой.

Она (несколько едко). Да, мы ведь тут, дома, не умеем одеваться.

Я. Нет... несмотря на все мое почтение! Здешние дамы этого не умеют. Хотя, уже у нас в Бергене, в этом отношении много лучше... Да, вы, вероятно, не знаете, что я из Берге-

на, так как теперь я говорю совершенно чистым наречием Христиании... Да, да, избави меня Бог! Конечно, есть счастливые исключения, но вообще здесь ничего не видишь, кроме самого грубого извращения портнихами всего, что носит имя ритма и формы. Я думаю, что оттого-то и не могу я никак основательно влюбиться здесь, дома.

Она. Конечно, нет, раз вы смотрите только на платье...

Я. Только на платье!.. Боже мой! Так съездите в Париж и попробуйте тогда, вернувшись домой, сказать таким-же тоном: «*только на платье!*»

Она. Нет, я хотела сказать...

Я. Мы, вообще говоря, довольно неприятные варвары. Мы – янки. Единственно, что оставалось нам от старого поклонения красоте, единственно отрадное и изящное, что было у нас здесь, среди наших ледяных гор, это красота наших женщин... Но теперь, разумеется, и ее надо по-боку. Байковые платья, нормальная обувь, нормальный покрой, наивозможно безобразный; это практично и здорово, говорят эмансипированные женщины... и нравственно, прибавляют проповедники аскетизма; это не наводит мужчин на греховные помыслы, а тогда и вообще нет более греха. Ах, черт возьми!.. Это вечное мещанство! Разумеется, женщины скоро остригут себе и волосы, ради удобства и пользы с одной стороны, и еще потому, что длинные, красивые волосы так опасно романтичны; потом наступит день, когда женщинам будет запрещено носить перчатки, потому что белые краси-

вые руки также могут вскружить голову мужчине; наконец, будут запрещены и всякие духи; не нравственнее-ли и не натуральнее-ли пахнуть потом, чем фиалками?

Она (с некоторою неловкостью). Ах, вы хотели-было...

Я. Да, да, извините! Так. О чем-же собирался я вам рассказать?

Она. Вы сказали, что так ужасно возвращаться домой.

Я. Ах, да. Да, с истинным ужасом бродишь по этим пустым, безмолвным улицам с их доисторической мостовой и безыскусственными кучами лошадиного навоза... Еще раз простите!.. А сами-то сограждане? Эти долговязые, косматые малые, проходящие по улице, раскачиваясь и размахивая руками, в своих до лоску вытертых панталонах и сомнительной чистоты сорочках, с небритыми бородами и широкими, перекошенными лицами, точно они никогда не знали радости и веселья... уф!.. Они идут так медленно и с таким унылым видом, подгибая колена, широким ленивым шагом, словно не ждут ничего приятного в том месте, куда они отправляются; это отражается на всей их внешности. Затем добираешься до Карла Иоганна и наталкиваешься на львов; да... да, Господи Боже! (Пожимаю плечами). Мещанский, мещанский город! Неряшливое платье, по-нескольку дней не бритые бороды! Нет строгой красоты, которая ждала-бы этих молодцов! Иногда они производят такое впечатление, как будто-бы они забыли даже помыться. Да и на кой черт мыться здесь, в этом городе? Кое-когда, правда, встре-

тишь какого-нибудь барина в цилиндре, в перчатках, с претензией на изящество во всей своей внешности; но... их так мало. Все время, сидя в экипаже с кучером на козлах, похожим на проповедника, я говорил самому себе: в следующий раз ты сойдешь на берег в Арендале или Лаурвике для того, чтобы не быть до такой степени застигнутым врасплох по возвращении в эту возлюбленную столицу.

Она. Да, а я именно слыхала от других, как восхитительно бывает возвращаться домой, в Норвегию.

Я. В Норвегию, да!.. Это другое дело. Но наша жалкая столица... ну, право, при всем уважении к ней, при всем уважении...

III

Как это могла она согласиться на эту прогулку? Кто-же она в сущности? Что думает она, и какие у неё намерения? Недоставало только, чтобы она влюбилась.

Но нет; в таком случае она разумеется не пошла-бы со много. «Женщины всегда поступают наперекор логике».

Между тем, время от времени у меня является такое предчувствие. А так как я настолько порядочный малый, что во мне нет ни капли жестокости, то я был-бы искренно огорчен этим (позднейш. примеч. ха, ха!); вследствие этого я начинаю взводить на себя всевозможные обвинения, – что, собственно говоря, я могу делать, нисколько не противореча истине.

Я старик, говорю я. Старик от рождения, т. е. невозможная смесь старости и молодости. Это, вероятно, наследственное; теперь ведь все приписывают наследственности. Отец мой был отставной капитан на пенсии, старый, изжившийся жуир; в конце концов эта развалина падает в объятия своей полногрудой тридцатилетней служанки-домоправительницы.

– Женился он на ней? – с интересом прерывает она меня.

– Нет, – настолько-то у него хватило вкуса. Последствием этого падения явился я. Стариковская, отжившая, бессильная кровь смешалась с молодой, сильной мужицкой кровью

и из этого, естественно, не могло выйти ничего цельного. Я думаю, например, что я в действительности никогда даже не любил; по крайней мере, никогда не любил вполне, – разве только в тот раз, когда я 16-17 лет влюбился в соседскую горничную. Всегда и все на половину, – на половину увлечен, на половину хладнокровен, один глаз ослеплен любовью, – другой-же открыт и зорко бодрствует; потому-то, естественно, в конце концов я окажусь тем, чем я всего менее желал-бы быть, а именно – вечным холостяком.

– Почему-же не хотите вы быть им? Для вас, мужчин, это вовсе не так страшно; ведь только мы одни, старые девы, подвергаемся насмешкам.

– Право, и сам не знаю хорошенько. Причиной этому, вероятно, детские воспоминания о так называемом родном доме, этот особый неприятный беспорядок в хозяйстве... вероятно, он-то и внушил мне такое отвращение к подобной беспорядочной и без... да, мне представляется это так пошло.

– Но раз ваш отец любил эту девушку...

– Избави Боже! Я его ни в чем не укоряю; я говорю только, что подобные вещи пошлы, и они действительно пошлы.

Пауза.

– Потому-то, – добавляю я, – славу Богу, и не женился я на той служанке. Это никуда не годится. Надо жениться на особе равного общественного положения и, таким образом, устроить себе дом, который был-бы в достаточной степени недоступен для посторонней публики. В этих вещах должно

быть comme il faut. Все-же другое... оставляет дурной осадок.

Пауза.

Вовсе не следует относиться с таким презрением и насмешкой к тому, что называется «внешностью». Черт возьми, в конце концов нравственная обязанность каждого человека – не вызывать в своих собратях чувства отвращения своими грязными рукавичками. Я часто с недоумением спрашиваю себя: что имеет большее значение в жизни – элегантная-ли дамская ножка или серьезное мировоззрение?

Она смеется; я начинаю горячиться.

Да, что бы мы ни делали, дальше внешнего явления, Erseheinung'a мы не пойдем. Таким образом, прекрасное явление есть самое высшее, что только существует на свете... по крайней мере для нас; оно представляет собой «реализацию идеи», а следовательно и разрешение «загадки жизни». Прекрасная женщина, дышащая молодостью, со взглядом, непроницаемым, как ночь, с музыкальной походкой...

– И так далее и так далее!

– Да... сколько-бы в погоне за истиной ни рылись мы во всех кладовых и закоулках существования, только в ней одной открывается нам «смысл жизни»...

– Это очень красиво на словах...

– Благодарю, я знаю продолжение. Но во всяком случае, *это* не пустяк!

С какой стати влюбиться ей в меня, такого уже не молодого

го человека в зрелом возрасте? Однако, так бывает во всех комедиях. Прирожденное женщине стремление спасать и исправлять... в сущности это ужасно благородно, трогательно. Но это глупо. Плохая эта экономия – поправлять то, что пришло уже в упадок; пусть же оно разрушается себе с Богом! Чем скорее, тем лучше. Это своего рода декадентство в женщинах, когда они влюбляются в подобную ветошь; долг женщины по отношению к роду, – выбирать самых лучших, самых молодых, самых здоровых, наиболее приспособленных стать отцом её детей.

Она так старалась дать понять мне, что эта... ну, одним словом, эта возня со мной... что это «единственное, что есть у ней в жизни», «единственное, что занимает ее»...

Но вот тут-то опять и затруднение: если-бы была она влюблена, то, конечно, не сказала-бы этого.

Глупости. Старый, тщеславный малый, будь покоен, с этой стороны не грозит тебе никакой опасности. Глупо только, что она рискует таким образом очутиться у всех на языке, т. е. глупость-то вся в том, что эти сплетни будут до такой степени лишены всякого основания (Позднейш. примеч. ага!)...

В сущности это через-чур уж смешно... проводить таким образом время и быть «товарищами» с молодой, красивою девушкой; мужчина во мне даже несколько пристыжен этим. Можно было-бы лучше воспользоваться временем.

(Ага!)

Подумайте только: не сделать даже и попытки ввести те более интимные отношения, которые одни только и возможны и естественны между женщиной и мужчиной! Собственно даже и не желать этого! Это смешно; это даже неприлично. Она просто-таки должна презирать меня.

А тем временем я успел уже прослыть самым отчаянным волокитой, а она, может быть, прослывет вскоре... и за нечто другое.

Это не годится. Или вперед, или назад, – так-же это прямой идиотизм. Но первого я не хочу и не могу; даже если бы я сам и рискнул на это, то она-то не из таких; она оказывает мне такое безусловное, товарищеское доверие, которое положительно обезоруживает. В таком случае – другое: покончить. Кетати-же, я действительно начинаю интересоваться ею несколько более, чем это может быть прилично такому почтенному холостяку и департаментскому чиновнику; это-го не должно допускать; это безразсудно.

Конец этой главе!

IV

Берген 20-го июля.

Разумеется, никакого окончания главы не последовало. Я не мог действовать, не принимая её во внимание, не мог порвать сразу; в этой истории мне надо было сойти со сцены постепенно, изящно и незаметно; и так я и сделал. Для этого я воспользовался «каникулами», как поводом, сел на пароход и уехал.

Теперь я брожу здесь, по Бергену. Безо всякого заметного волнения, по прошествии многих долгих лет вновь увидал я старые места. Ничего не ощутил я, кроме некоторого равнодушного недоумения, – неужели здесь все так неинтересно, ничтожно? И вдруг мне стало ясно, что я сам не знал, что буду я делать в городе, где фрекен Гольмсен не совершает вечерних прогулок.

Влюблен?! В 199-й раз? О, нет, до этого еще не дошло. Только несколько сентиментально настроен. Вся моя «влюбленность» исчерпывается лишь каким-то ощущением неудобства, когда её нет около меня. Будь она здесь, я готов был-бы уступить ее хоть черту... т. е., разумеется, с оговоркой.

Итак, брожу я здесь и слоняюсь по упомянутым уже пустырям, и ничего не вижу. Даже ничего не чувствую. Ничего, кроме некоторой пустоты и тревоги в душе: неужели наступит

пит-таки когда-нибудь конец этим трем неделям? Принимая в соображение, что сутки равняются 24 часам, И минутам и 56,56 секундам, на это, как кажется, мало надежды. Чтобы убить время, я гуляю, катаюсь лод парусами; рассчитываю даже проехаться в Гардангер. «Люди» везде есть на земле, что-же касается до семьи, то я, слава Богу, из безродных и вообще не имею родственников.

Итак, тянет меня в Христианию вовсе не ради неё; от неё я положительно намерен «отвыкнуть», клянусь Богом! Но тем не менее я скучаю по городе, – прямо по местности. Мне недостает Гранда и Гравезена и вообще возможного там доступа к городской жизни на европейский лад (здесь решительно ничего нет); мне недостает даже Георга Ионатана с его бургундским... даже вдобавок ко всему, я, кажется, с удовольствием встретил-бы и его общественный переворот.

Я скучаю... это верно. Скучаю, скучаю! В Христиании я тоже кончу тем, что соскучусь, но тем не менее, тем не менее...

Всего смешнее то, что я время от времени вдруг начинаю ревновать. Теперь, разумеется, она уже подцепила там кого-нибудь другого. Она в том возрасте, когда девушки не желают уже терять времени. Мало того: я вижу его, это почти через-чур миловидное личико с почти через-чур непокорно рассыпающимися локонами и почти через-чур притягивающими глазами... В следующий-же раз я встречу ее под-руку с ним, в полном созерцании его мудрости. Но что-же мне-то

до этого за дело? А между тем это все-таки сердит меня.

...Да, да; это нетолько забава. В конце-концов она будет счастлива, уедет с тем или другим за море и спокойно проживет свою жизнь, между тем, как я останусь один слоняться по этой ледяной пустыне, мерзнуть и чахнуть, чтобы, наконец, одиноко умереть в какой-нибудь канаве в то время, как вороны и другие черные птицы усядутся кругом и примутся точить свои клювы.

Замечательная вещь! Плыть и плыть по морю, и все время твердо знать, что не только не приближаешься к гавани, но неизбежно в одну прекрасную ночь получишь течь и пойдешь ко дну, – ко дну вместе со всею историей.

Господи Боже! если в конце концов, во всяком случае, придется очутиться на дне, то из-за чего-же быются так люди, стараясь удержаться на поверхности и из-за чего мучают они себя этим плаванием?

– Уф, и жарко-же сегодня! Мозг размягчается и расплывается в банальностях. Надо на воздух и выкупаться.

Были-ли бы я действительно в состоянии избегать её, если-бы она была настолько близко, что...

– Ерунда! Слава Богу, что тут нет никакой возможности поддаться искушению (Тем не менее ни одного вечера не проходит без того, чтобы я, прежде чем лечь в постель, не провел-бы по меньшей мере двух часов, не выпуская из головы этой достойной смеха мечты, что она в своей безразсудной любви поехала вслед за мною, разыскала меня и вдруг

очутится под окном... Утеши тебя Господи, старый селадон!).

Эта фрекен Бернер, которую я иногда здесь встречаю, гораздо умнее, чем она кажется на первый взгляд. В этом отношении меня ввели в заблуждение её безупречная выправка и неизменно будничным вид; за время нашего долголетнего периода гениальности мы вбили себе в голову идею, будто нельзя задать никакого прока от человека, не обнаруживающего известного числа пробелов в своем воспитании.

Мне пришлось сегодня сидеть с нею рядом за ужином у одного знакомого – собрата по духу и коллеги по газетным критическим статьям и сокровенным поэтическим грешкам. При этом случае фрекен Бернер обнаружила далеко не заурядный интеллект в гастрономическом отношении. Целых три четверти часа разговаривали мы о кушаньях, действительно по-европейски. Различные рагу; устрицы в том или другом виде; омары, новый английский соус и т. д. и т. д. И обо всех этих вещах фрекен Бернер говорила с полнейшим знанием дела. Этим обратила она на себя мое внимание, – ведь, вообще женщины не знают никакого толка в еде, и я заговорил с нею о любви. Фрекен Бернер не дурно выдержала это испытание и поистине талантливо отстаивала разумный брак против брака по страсти. И в то-же время без всякой претензии или горячих демонстраций и нисколько не стараясь вызвать приятного противоречия.

– Брак по рассудку представляет собой гораздо менее рис-

ку, находила она. – Конечно, плохо, если не удастся сойтись характерами, но в сущности это не так еще опасно; во всяком случае, тут можно еще успокоиться на том, чтобы жить так, как живут между собою все ваши знакомые, с которыми вы вместе обедаете. А между тем, бывает, что люди начинают, симпатизировать друг другу и тогда, супружество является приятной неожиданностью, тогда как в браках по страсти, как мне кажется, оно часто становится тягостным.

Я отвечал, что и я также относился с полным уважением к интеллигентному разумному супруеству, но что я всегда считал большим преимуществом, когда разумный расчет совпадал со склонностью... – Это моя дань сентиментальной нравственности. Вы-же, по-видимому, скорее готовы стать на сторону стариков, которые говорят, что прежде всего надо искать соответствия в общественном положении, состоянии и воспитании; любовь-же есть нечто такое, что приходит потом само собой?

– Старики всегда правы, – заметила с улыбкой фрекен Бернер.

– Ну, конечно, трудно было-бы полагаться на то, что любовь «придет», но вы, очевидно, думаете, что образованные люди в крайнем случае сумеют обойтись и без любви.

– Да... им-же все равно и так часто приходится обходиться без неё.

Под конец я не мог удержаться, чтобы не спросить ее, уж не была-ли она втайне занята работой над каким-нибудь ро-

маном; насколько я мог судить, у неё был порядочный запас впечатлений, кое-что может быть было даже пережито (ей 28 лет,) и воззрения её были упорядочены и выдержаны. Она отклонила намек с самым благопристойнейшим презрением.

– Тем не менее вы одна из немногих, которые могли-бы иметь право на это, – продолжал я, желая сказать ей комплимент; – но я должен признаться, что мое уважение к вам несколько не уменьшается от того, что вы оставляете в покое чернильное маранье.

Она улыбнулась. У неё приятная, интеллигентная, тихая улыбка, – «geräuschlos», как сказали-бы немцы.

Вот *эта* не могла ли-бы быть мне женой?

* * *

Гардангер.

Немножко романтизма, пожалуй, недурно для разнообразия. Это освежает и умиротворяет. Становишься тих, сосредоточен в себе, религиозен; делаешься пантеистом. Душа уподобляется этому блестящему фиорду с его чудной двойственной пучиной... по внешности голубой, как небо, ясной, как воздух, улыбающейся; на дне-же беспросветной, мрачной, черной, с перепутавшимися водорослями, – затонувшими лодками и телами утопленников; в этой ошеломляющей пучине отражаются, как в зеркале, земные долины и крутые откосы гор, погруженные в сосредоточенное, задумчи-

вое молчание. Время от времени медленно движется лодка, оставляя за собою след, пересекающий эту спокойную опасную гладь.

Час за часом способен я сидеть здесь, на горе, и смотреть; смотреть, забывая думать; мир исчезает, превращаясь в ничто, в прекрасное, бессодержательное видение, какое он, конечно, в действительности и есть. Медленно, точно насекомое, скользит по фиорду лодка, среди ослепительного солнечного сияния, а в лодке сидит животное человек с головой, полной мелких огорчений и забот, которые он принимает за серьезное дело.

Тишина. Безмолвие. Жужжанье шмелей; журчание ключа. Сияние и блеск. Медленные, мерные удары весел. Покой тысячелетий... Не странно-ли, что все это в конце концов не более, как водород и кислород, углерод и азот, NO_2 и NO_3 ...

Тот-ли, другой-ли отвратительный м-р Смиф прибыл вчера на собственной яхте с женой и детьми, крупным и мелким скотом и занял весь отель. Я-же, будучи не более как нищим норманном, по этой самой причине все время подвергался самому ноншалантному обращению, как со стороны (шведа) содержателя отеля, так и со стороны его норвежской челяди; единственным, действительно благоволившим еще ко мне лицом, была маленькая, не совсем еще испорченная отельная служанка, родом из Бергена... Ну, а тут у меня просто на просто отняли комнату и просили быть столь любезным, – разделить комнату с другим норвежцем, – с ка-

кою-то, как сдается мне, несчастною кандидатскою душою из Христиании.

Это начало владычества туристов.

Начало «славе Норвегии» на новый лад, а вместе с тем и «восхитительного Гардангера».

Кандидат оказался идиотом. Он уверяет, будто по речи моей слышит, что я родом из Бергена... Кажется, на этот раз я действительно имел право разгорячиться...

И я разгорячился. «Да, так это всегда бывает», заговорил я. «М-р Смиф и брат Лундстрем... они просто на просто выгоняют нас из нашего собственного дома. Старая Норвегия превращается в летнюю санаторию для английских торговцев каменным углем; брат Лундстрем и г. Шульце-Мюллер строят отели и набивают карманы; „норвежский народ“ превращается в кельнеров, а „норвежская женщина“ в проститутку на утеху европейским туристам... Простой, честный норвежец, жаждущий ненасытной душой своей посетить долины Норвегии, и с этой целью путешествующий пешком, в скором времени просто таки не найдет себе нигде пристанища, по крайней мере в том случае, если он не будет болтать по английски. О, слава Норвегии! О, поступательное движение вперед родной земли под благословенным правительством народа! Одно только существо во всей стране не понимает того, куда мы идем, и существо это зовут Стортингом. Крестьянское сословие с ошеломляющею быстротою летит вниз по наклонной плоскости ипотек; иностранцы, участок

за участком, скупают наши земли, все, что имеет какую-нибудь ценность, – рудники, сады, незастроенные еще пустыри, водопады. Стортинг сидит и смотрит на это, и радуется, что „деньги прибывают в стране“... Еще каких-нибудь пятьдесят лет, и наша комедия норвежского государства превратится в сагу! А тем временем какие-то семинаристы бродят себе и декламируют „будущность Норвегии!“» О, да, о, да!

– Да, да, говорит кандидат со сдержанностью будущего государственного человека: «Развитие туристской жизни, разумеется, имеет свои темные стороны. Но, извините меня, я слышу по вашемуговору, что вы родом из Бергена...»

...Я уезжаю завтра-же с первым пароходом.

* * *

(Берген).

Как-бы то ни было, в конце концов, из этого вышло мало проку... одна только скука. Чувствую сегодня катцен-яммер по всей линии и готов был-бы заливаться смехом висельников... если-бы утренняя газета не возвестила мне, что наступил уже август. При этом я вдруг ощутил в груди порыв радости... в таком случае дня через два я могу и уехать...

Но... Да, разумеется.

Разумеется. Ведь я же уж почти «отвык». Ни следа какого-бы то ни было влечения. Я собираюсь быть олицетворением рассудка. Но как-бы то ни было... однако же...

Только-бы уехать!

V

Христиания, 20-го (или вернее 21-го) августа.

Удивительный малый этот Георг Ионатан. Например, хоть эта идея, – собирать коллекцию картин!

Да если бы он еще хоть что-нибудь смыслил в живописи! А то ведь сам хвастается, что не в состоянии отличить Таулова от Веренскиольда. «Черчение – вот единственно, что меня интересует, потому чертить я умею и сам!» говорит Ионатан.

А между тем, он затевает эту коллекцию. «Это создает известную обстановку, дает положение, говорит он. В нашей стороне человек, заведомо для всех обладающий полсотнею картин, является уже чем-то замечательным, выдающимся, чем-то беспримерным, – как-бы в роде единственного белолицого в среде краснокожих. А если хочешь преуспевать на жизненном поприще, то, прежде всего следует постараться внушить к себе удивление в среде своих сограждан. Надо окружить себя блестящим ореолом, понимаете? Деньги, которые затрачиваются на эти глупости, возвратятся вам сторицею».

Я отвечаю ему, что подобный ореол скорее напугает краснокожих. Они будут чувствовать к нему почтение, но станут избегать его. Считая его любителем художества, литературы, они будут видеть в нем представителя богемы, человека непрактичного. Черт возьми, что может смыслить в делах

кассы для бедных или в устройстве клоаков человек, интересующийся чем-то таким оторванным от земли, как искусство!

Он, по обычаю своему, пожимает плечами.

– Тут есть нотка патриотизма, которая придется по вкусу, говорит он.

– Патриотизма?.. Ну, разумеется, хорошо, если находится человек, способный время от времени бросить сотни две крон на искусство...

– Я скажу вам одно, – серьезно говорит Ионатан. – Настудит время, когда Европа будет стремиться в Христианию для того, чтобы видеть *норвежцев*, подобно тому, как теперь стремится она в Италию, чтобы видеть флорентинцев. Понимаете, какую деньгу зашибут тут оптовые торговцы; и время их скоро наступит.

Я пожимаю плечами.

Сегодня вечером в присутствии доктора Квале, живописца Блютта и моей незначительной особы, он торжественно снял покрывало с последней купленной им картины... которую, я почти готов думать, он купил ради меня. Он-же ведь прекрасно знает, что это она была моей «прежней» пассией. Впрочем, это вовсе не портрет... Это внутренность комнаты, и она является лишь одним из предметов обстановки. Картину эту написал её отец; это из того еще времени, когда она не была замужем. Художественный интерес картины составляет особая тонкость в пользовании светом, или, если угодно,

тениями; но я видел только ее, мою когда-то так горячо любимую Элину. Она стоит на заднем плане и смотрит в окно. Удивительно изящно вырисовывается она в матовом, светло-сером свете, падающем из окна. Я узнал каждую её черту. Маленькая характерная голова (с густыми рыжевато-белокорыми волосами, подобранными на затылке) имеет именно то самое грациозное положение, и осторожный, пытливый, боковой взгляд полузакрытых глаз; матовая, смуглая шея с нитью кораллов нежно выделяется в полумраке; из-под роскошных волнистых волос любопытно выглядывает маленькое розовое ушко с цыганской золотой серьгой; на красивые высокие плечи и изящную, но мускулистую фигуру накинута красновато-коричневый дамасский утренний капот; нижняя часть немножечко слаба. У меня совсем защемило на сердце; но это скоро прошло. К сожалению, она представляет собою законченную уже главу.

В тот же самый день, когда она вышла за этого противного горбуна... как это его звали? Да, Петер Торденскиольд, маринист, – влюбленность моя исчезла без следа. Это казалось мне через-чур уж противно. Представить ее себе запятнанной его поцелуем... ах, этого более чем довольно...

Каким я был ужаснейшим идиотом! Она, конечно, сделала это только мне на зло. В действительности, разумеется, избранный был я. И так напугать и отогнать ее всякого рода невозможнейшими глупостями и недостатком благовоспитанности! О! это она должна бы была быть моей женой.

В тот раз, когда я сам упустил из рук свое счастье... судьба моя в сущности была уж решена.

Что-же касается до моей нынешней, то я думаю, что я почти уже излечился.

По временам только все это как-будто вновь всплывает на поверхность... Вот, как на днях, когда мне сказали, что какая-то дама поднялась до моего этажа и спрашивала обо мне; ведь это-же *могла быть* и она!.. Но, черт возьми, уж не в первый раз приходится мне стряхивать с себя влюбленность.

Зайдя сюда, я так освежился и успокоился. Я же был тут поблизости от неё... Только бы хватило духу выдержать, и месяца через два все пройдет без следа.

Неприятная однако мысль. Все кажется, точно, заходя сюда, я убиваю что-то в своей душе, что-то любимое и драгоценное, – что-то обещающее мне жизнь; точно я вырываю с корнем какое-то прекрасное, роскошное растение, которое легко могло бы вырасти и покрыться зеленью, вырасти, развиться и окружить меня сенью цветов, белых, бледнорозовых, душистых...

VI

(30-го сентября).

Осень – мое время, особенно, если она дождлива и туманна. В послеобеденное время часами брожу я тогда за городом и наслаждаюсь бледностью лесов и болезненной краснотой и желтизной опадающей листвы, и утопаю в грустном настроении.

Птицы умолкают и улетают, и все ищет крова и приюта. Со всех окрестных гор и пригорков, со стороны расположенных на них маленьких человеческих домиков, доносится какой-то гул и жужжание: это работают молотилки; работают на зиму. Все знают, чего надо ждать, и приготавливаются заранее: запасаются припасами, топливом, платьем, чтением, – точно в виду долгой осады.

В такие дни на меня нападает иногда охота кропать стихи. Нижеследующие написаны самим Жерре и мне нет нужды доказывать их оригинальность:

«Зловещее черное знамя
Как тень над землей развернулось,
Смерть клячу свою оседлала
И гибель развозит по миру:
Трусит смерть на жалкой кляченке,
И зелень лугов выцветает,
На небе чуть держится солнце,

Уныло так смотрит на землю».
«Листва на ветвях увядает;
Ростки засыхают и гибнут;
Лес тяжело под бурею стонет,
Отходный псалом напевая.
Безмолвно качаются ели
Среди пожелтевших березок,
И думать они позабыли
О летнем безоблачном небе!»
«Людские дома и селенья
Затихли, замкнувшись на зиму;
Нельзя больше ждать, и крестьянин
Копает последний картофель.
Как мертвые летняя пташки,
С деревьев листва опадает;
Медведь залезает в берлогу, –
Никто его там не встревожит».
Снимаем мы летнее платье;
Уж скоро ждать надобно снегу.
Конец пикникам и прогулкам:
Теперь нас зовут уж на кофе.
– «Ах, будьте добры, одолжите
Последний мне номер газеты!»
– «Что нового сделал парламента?»
– «Итак, ничего! Так и знал я!»
«Пожалуй, поверить не трудно,
Что жизнь навсегда прекратилась.
Но вспомните, сколько лягушек
За лето на свет появилось!»

Лишь вспомнишь о них, так, пожалуй,
С тоской помиришься осенней:
Укрывшись, в тиши, они громко,
Смеясь, возвещают: «мы живы!»

VII

Я начинал уже чувствовать себя гораздо лучше; заставил-таки я эту бледную девушку с массою выющихся волос обогнуть угол Церковной и Карл-Иоганновой улицы, как раз в ту самую минуту, когда и я, в противоположном направлении, тоже должен был огибать этот исполненный опасности угол. Разумеется, она не видала меня; да если-бы она и заметила меня? Что я для неё? Какой-то смешной болтун, чудак... Конечно, так. Но я разглядел ее... Господь ведает, каким образом, потому что у меня сохранилось очень определенное ощущение, будто я сию же секунду зажмурил оба глаза.

Она была очень бледна. С каким-то таким совершенно особым выражением безнадежности в глазах... в этих больших, болезненных, опасных глазах, в этих влажных, задумчивых глазах, которые так тоскливо смотрят на мир, не открывая перед собою ни пути, ни цели... смотрят вперед в бесконечный мрак.

Темные кудри в самом безнадежном беспорядке рассыпались по белоснежным, с голубыми жилками, вискам. Это произвело какой-то толчок во всем моем существе; ни одной минуты покоя не имел я с тех пор. Все снова вырвалось наружу; опять грызет, сосет, томит... по-прежнему.

Я зашел к Бьельсвику, поднял его на смех и постарался

напиться и повеселеть; но ведь это-же ложь, это старое правило: «чтобы повеселеть, надо напиться». Правда лишь то, что если будешь пить, то можешь повеселеть; ну, а я, тем не менее, не повеселел. Каждую минуту углублялся я в самого себя и, сидя на месте, все еще видел, как огибает она этот угол... Постоянно огибает она этот угол Церковной и Карл-Иоганновой улицы; постоянно смотрю я на этот мимолетный призрак бледного отчаяния под массою темных кудрей; постоянно мелькает передо мной эта пара больших болезненных глаз, упорно смотрящих в какой-то безграничный мрак. И каждый раз душа моя вновь наполняется теми смертельными терзаниями, которые теснят друг друга, извиваются и переплетаются между собою, как змеи, заключенные в тесной ограде.

(Тут следует целый ряд попыток пером и карандашом нарисовать её портрет. Ни один из них никуда не годится).

* * *

Целую неделю только и, делал, что слегка попивал.

Со вчерашнего вечера дело пошло еще хуже. И вот сижу я тут с размягченным мозгом, совершенно пьяный.

«У меня грехов...»

– Что-то скажет начальник моего бюро? Ну, да пусть его!

Еще пивца...

Я просто-напросто снова лягу в постель...

«Грехов у меня... Эх!...»

* * *

В тот-же день вечером.

Какое странное состояние, когда просыпаешься после сильного пьянства: это представление какой-то очень длинной и гибкой шпаги, медленно опускающейся мне в грудь, перпендикулярно, неуклонно, как раз в самую середину сердца. Я вижу ее, я ощущаю ее известным образом, и это мне так приятно. Освежает, утешает. Большая, белая красивая рука с сверкающими брильянтовыми кольцами держит рукоятку и направляет ее верно, неуклонно, медленно и приятно; но кроме кисти руки ничего нет.

Это представление сменяется другим: нечто в роде машины для отсечения головы, формой своей похожей на большой хлебный нож, а под этим ножом, очень широким ножом, блестящим, тонким, веющим холодом и таким острым, что почти сам собою проникает в тело, лежит моя шея, и какая-то женщина, пожилая, почтенная, матронообразная женщина стоит и перерезывает эту шею медленно, обдуманно, как режут ломоть ржаного хлеба. Я лежу в удобной позе, на правом боку, и наслаждаюсь положением. О, восхитительно!

Сегодня вечером главным образом преследуют меня различные висельнические фантазии. Невольно каждую минуту

провожу я рукою по горлу, именно там, где легла-бы веревка; затем я поднимаю руку вверх к потолку в том направлении, где веревка была-бы прикреплена, и таким образом с минуту представляю себе, что я судорожно раскачиваюсь и подергиваюсь на воздухе с высунутым языком. Это успокаивает, освежает. Как восхитительно, должно быть, было-бы раскачиваться так над всем миром, выше всякого земного коварства и сплетен и думать: теперь-то уж они не настигнут меня; наконец-то покончил я со всею низостью и грязью.

Все-бы это ничего, если бы только не эта дрожь, эта удивительная скрытая дрожь, от которой я никак не могу отделаться. Вероятно, дрожь эта внутренняя; род какой-то вибрации во внутренней мускулатуре... замечательно неприятная. Я начинаю чувствовать себя как-то так смутно, словно земля сама уходит из-под ног; не чувствую в себе никакой тяжести и никакого центра тяжести... одно только чуть приметное колебательное сотрясение во всем существе. Это доводит просто до умопомрачения. Ведь я-же знаю, что это такое... Алькоголизм, черт возьми! Но это ни к чему не ведет. Меня преследует тупое чувство давления тут, под самой грудью. Нет настоящей головной боли, но какое-то особое, туманное ощущение пустоты, окружающей голову... нечто в роде прогалины между мною и миром, какая-то просвистывающая пустота: вещи, окружающие меня, в сущности, вовсе не действительные предметы; это – декорации, это... В сущности, это какие-то фокусники, которые стоят здесь и выда-

ют себя то за то, то за другое, – за софу, за шкаф, стул и т. д.; но они и сами отлично знают, что они вовсе не то. Это меня несколько мучит. Я не выношу этой комедии.

Но внизу, ниже, всего ниже, позади всего, на заднем плане, в самых сокровенных недрах моего существа сидит тяжелый, как свинец, опасный ужас, род затаенного, замкнутого сумасшествия, которое растет, ширится и стремится разразиться ревом. Это нечистая совесть или нечто в роде испуга, в роде ощущения ужасного унижения, какой-то необычный идиотический ужас перед чем-то, Бог ведает, чем. Невыразимое болезненное стремление броситься к чьим-нибудь ногам, – женщины, священника, Бога и вопить, плакать, каяться, принять бичевание, укоризны, проклятие и, наконец, как больное дитя, быть поднятым любящими, надежными руками.

Мне следует быть несколько осторожнее; я могу дойти до delirium'a. Но зато это хорошее средство против влюбленности. Это раздвояет человека. Любовное горе тонет в море иного рода муки. Любовь становится далекой, сентиментальной, лишенной желаний; начинаешь сознавать себя таким недостойным; если бы даже можно было, сам не захотел-бы коснуться её даже пальцем. И бродишь целые дни, носишься с манией самоубийства, едва справляешься со своими нервами и призраками и бормочешь вслух, сам с собой: «я старая свинья; о, нет, дай ей Бог миновать такой судьбы!» И чувствуешь себя благородным и честным, и на глаза на-

вертываются слезы.

– Послушай, Фанни, почему не придти-бы тебе теперь и не позвонить у входной двери... Не для чего-нибудь такого, а просто для того, чтобы немножко поблагодарить вместе...

* * *

Я ловлю себя на том, что выискиваю все дороги, по которым отправлялись мы вместе на прогулки; с полной религиозностью пью холодное, как лед, гадкое пиво в деревенских ресторанчиках, в которые мы вместе заходили; внутренне я всегда втайне надеюсь встретить ее, хотя именно этого-то ни в каком случае и не хочу. И не встретя её, возвращаюсь домой, – как собака, повесив хвост.

Глупец, осел! Много-ли думает она о тебе? Да даже если бы она и думала о тебе, так ведь ты-же сам не захотел-бы... Подобным личностям в таком случае следует разойтись.

Между тем я брожу здесь, как вечный жид, чающий любви и брака: прирожденный холостяк, постоянно и тщетно ищущий пристани супружества. Но те, что вечно боятся, как-бы не жениться, оказываются пойманными прежде, чем это придет им в голову.

Существование так полно всяких призраков.

В сущности я несчастный человек. Но это-бы еще я мог перенести. Гораздо хуже быть несчастным и в то-же время

оказаться до такой степени в дураках.

* * *

Говорят, – одна только смерть не обманывает. Да, но тем не менее и на нее нельзя вполне положиться. Она, конечно, придет, но придет не во-время.

Но к тому времени мы начинаем уже чувствовать себя почти хорошо, сидя на своем стерине, потому что человек привыкает ко всему, привыкает даже к жизни.

– Застрелиться? – но это целая история. А кроме того, выстрел редко бывает удачен. К тому-же еще это до такой степени вульгарно.

Доктор Кволе в данном случае может быть оказадся-бы человеком, способным снабдить меня склянкой морфия?...

(Последний скандал). Молодая красивая женщина полюбила морского капитана. Тут все люди поднимают вопль... и вопят с полным убеждением! – мужчины, потому что завидуют ему; женщины, потому что завидуют ей.

Я с своей стороны завидую ему... Предполагая однако, что *она* была именно та. о ком я думаю.

* * *

Достопочтеннейший Габриэль Иероним Грам, что-же это,

наконец, за глупости?

Я чуть не упал от удивления, когда раскрылась передо мною эта до очевидности простая вещь... и я просто-таки не могу понять, каким образом не видел я этого раньше.

Ну, да, разумеется, – мне не давал покоя этот известный осел в образе Морали. Возможно большая степень счастья, возможно меньшая степень несчастья... Эти изречения, разрази их Господи! невольно вплетаются даже в самые независимые человеческие суждения.

Чувствовать себя хорошо? Да я уж предпочту чувствовать себя дурно (если только дело идет не о боли живота). Это бездушная вялая истома, которую зовут хорошим самочувствием, может быть годится для статских советников и пасторов, но она никуда не годна для людей.

Плохое самочувствие того или другого вида, – стремление, чувство лишения, тоска, мука – ведь *это-то* и жизнь! Это возбуждает человека, наполняет время, поддерживает деятельность душевного механизма, питает чувство, шевелит волю, мысль, энергию, – между тем, как при ощущении вялого довольства от жизни, просто-напросто ничего не остается.

А потом эти немногие дерзновенные часы, когда человек живет во всю! Когда все жизненные силы его в полном ходу, все напряжение, весь пыл его существа, трепетание всей его души! Тут нет ничего похожего на вялость хорошего самочувствия и т. д. и т. д. Всякое истинное наслаждение явля-

ется по крайней мере на половину страданием; побеждаемое страдание – вот определение наслаждения!.. Такие часы достигаются лишь с помощью какого-нибудь возбуждающего элемента: вина, любви, игры, воодушевления... а тут моралисты говорят тебе: берегись! главное, – не надо опьянения! на завтра наступает катцен-яммер.

Но даже простой катцен-яммер предпочел-бы я их вялой скуке, – а тем более, если-бы тут-же в придачу даны были мне и лучшие часы жизни!

Но тем не менее я только и делаю, что прячусь и избегаю того возбуждающего элемента, который один только был-бы еще в силах несколько расшевелить меня... из страха страдания, которое это может принести; из страха некоторой дозы несчастной любви! Габриель, Габриель, я не узнаю тебя!

Я постараюсь снова встретиться с нею, я возобновлю с нею отношения... просто-напросто для того, чтобы чувствовать себя «несчастно влюбленным».

VIII

Старый человек. Ты не можешь любить. Иди домой, ложись на кучу пепла, как Иов, и окружи себя битыми черепками!

В сущности она интересуется меня, как загадка. Мне приятно работать над нею, я чувствую потребность разрешить ее. Но ведь не так-же мужчина должен интересоваться женщиной.

Да, да... а это легонькое, нежно-сентиментальное настроение, когда её нет со мною. Некоторое стремление. При известном расположении духа стремление это становится мучительно. Но страсти не существует.

Амур, Амур, я воздвигну тебе гекатомбу, если только ты захочешь ослепить меня...

* * *

Я чувствую некоторое довольство собою. Мучительное чувство исчезло. Дух мой спокоен.

Нехорошо держаться так вдалеке. Воображение и чувство взаимно подстрекают друг друга, пока не возведешь данной молодой девушки в «женщину», в Еву, окруженную розами; а потом носишься с самыми дерзновенными мечтами, пока не уподобишься такому человеку, который был-бы способен

жениться хоть на рыночной торговке, если-бы только удалось ему встретиться с нею.

11 часов. Вечер. Как приятно чувствовать себя человеком *comme il faut*. Все в порядке. Благоразумно ужинал с нею, беседовал возвышенно, умно и рассудительно, с приятным для самолюбия сознанием, что тебя ценят.

Мужчина только тогда бывает вполне доволен собою, когда он чувствует, что им восхищается женщина.

* * *

Много удивительного и допотопного опять встречаю я здесь, многое из моих собственных прежних воззрений и изречений; так, например, она, разумеется, патриотка. Любит Норвегию и т. д.

– И я надеюсь, что и вы также?

– О, да, смотря по обстоятельствам, Норвегия может быть не хуже любой другой страны.

– Ах!..

Да, да; мы, люди, довольно-таки ловкие ребята: свои потребности и ограниченности возводим мы в обязанности и кичимся ими. Подобно тому, как нашу потребность в половых сношениях превращаем мы в «любовь», ту простейшую случайность, что мы, как рабы привычки, являемся телесно и духовно связанными с определенной «средой», фантазия наша возводит в поэтическую иллюзию в виде «любви к ро-

дине».

Комичная идея – «любить» кусочек географии! «Любить» 5,800 кв. миль!

* * *

Я право думаю, что мучаю ее своим хладнокровием к вышеупомянутым кв. милям; по крайней мере она часто возвращается к тому же предмету и делает мне основательные внушения.

Я защищаюсь.

– Да, но ведь патриотизм в сущности есть ничто иное, как скрытое себялюбие. До того дорожишь самим собою, что начинаешь приписывать особую ценность всему, что в каком-бы то ни было отношении приходит с тобою в соприкосновение, хотя-бы это было не более, как местность, где живешь, Или даже вообще местности, состоящие с нею в какой-либо правовой или административной связи. Enfin!.. с этой точки зрения и патриотизм может иметь свое законное оправдание.

– Оправдание!.. Какое противное, вялое слово.

– Боже мой! что-же мне делать? Откуда возьму я любовь к родине? Я происхожу из старинной чиновничьей семьи и принадлежу, таким образом, к бездомной орде номадов, расплзающихся, как паразиты, по великому телу народа, перекочевывающих с места на место, с одной службы на другую,

как финны, живущие на горах, переходят с одного пастбища на другое. У такой расы не может развиваться никакое чувство патриотизма. Патриотизм принадлежит оседлому состоянию. Он развивается совместно с земледелием и строительным искусством. Возделанный его трудом кусок земли приобретает действительное значение для земледельца, а вслед за ним также и вся принадлежащая к нему территория; но для номада старинное изречение: *ubi bene, ibi patria* безусловно сохраняет все свое значение: где лучше служить, там и родина.

– В таком случае, не раздумывая долго, вы легко могли-бы стать шведом, только-бы вам хорошо платили...

– Ну, хорошо вознаграждаемый пост в шведском министерстве иностранных дел, например.... почему-бы нет?

– Да, если-бы здесь когда-нибудь разгорелась война, вы были-бы первый, кого-бы я застрелила!

Она улыбается с разгоревшимися глазами и при этом так увлекательно хороша.

Я приподнимаю шляпу и раскланиваюсь.

* * *

Разумеется, она демократка. С такую вьевшеюся яростью говорит она о «мелких ворах, которых вешают, между тем, как большим предоставляется гулять на свободе», точно будто это могло-бы помочь чему-нибудь.

Я все время являюсь каким-то профессиональным огнегасителем и пожарным. Каждую минуту раздражает она меня своими преувеличениями и своею несправедливостью, коренящеюся в самом наивнейшем неведении.

– Ну, да, разумеется, вешают мелких воров, говорю я, как, например, дают всякую мелкую гадину; тогда как тем, что воруют в больших размерах, поневоле оказываешь известное почтение, как вообще всему, обладающему значительными размерами. Они мастера в своем деле, художники, а перед искусством, перед искусством человек чувствует почтение, и должен иметь почтение, хотя-бы даже речь шла лишь о подобном искусстве, как искусство воровать. Нам отвратителен жалкий воришка или карманник, жертвующий своим человеческим достоинством из-за какой-нибудь кроны, да еще, вдобавок ко всему, допускающий себя поймать и подвергнуть наказанию: но нас интересует какой-нибудь Уда Гейланд и Гест Бардсен, и мы снимаем шляпу перед Ротшильдом и Фандербильтом.

Она сердится и протестует с излишней энергией; никак не может понять этой смеси бессильной серьезности и смеха висельников, – этого неизбежного тона каждого, пережившего стадию примирения с судьбой. Она относится ко всему с самой высокаторжественнейшей серьезностью, с какою корова смотрит на зеленую дверь или гимназист на республику.

Мы натолкнулись сегодня на нищую женщину; она сидела, бледная и посинелая, на ступеньке лестницы, с зазябшим

грудным ребенком на руках. Фанни нервно открыла свой портмоне, дала что-то женщине и поспешно пошла вперед; когда вскоре она опять заговорила, по голосу было слышно, что ее душили слезы. Это заставило меня почувствовать себя несколько неловко: моя мысль при виде женщины была. «ага! своего рода профессия... Откупила или украла нищего ребенка и пользуется им теперь как приманкой... черт возьми! да где-же полиция?» а тут эта наивная девочка вдруг заливается слезами и отдает женщине свою последнюю *ору*.

В сущности это, конечно, благороднее.

Но она сейчас-же спугнула всю мою растроганность.

– А там, за дверями, – заговорила она, – сидит богатая фрю Гартман, столько денег тратящая на белила, румяна, пудру и духи, что их за глаза хватило-бы такому несчастному существу на жизнь и на то, чтобы поднять на ноги своего ребенка и... вот таких следовало-бы *вешать*.

Последнее слово вырвалось у неё с каким-то шипением; это было шипение простолюдина, полное ненависти, бессмысленное. Подобные вещи производят впечатление ужасной неблаговоспитанности.

Я сдержал свою досаду и сказал:

– Всего хуже то, что обе они, как фрю Гартман, так и нищая, в одно и то-же время и правы, и неправы. Весьма возможно, что их, как представительниц известного принципа, обеих следует повесить; во всяком случае, это было-бы всего лучше для них обеих. Но личная точка зрения делает то, что

обе они гуляют на свободе. Я тоже в значительной степени соболезную голодным, но во всяком случае, в конце-концов, приходишь к выводу, что всего хуже живется все-таки не им.

– Так кому-же приходится в жизни всего хуже? – спросила она с горечью.

– Тем, кому, по-видимому, всего лучше, – отвечал я. – У них всего меньше иллюзий.

– Пх! – если не ошибаюсь, слышалось мне.

Я продолжал:

– Каждый человек в состоянии терпеть известное количество страдания; раз страдание перешагнуло за эту степень, данное лицо бросается в реку, в Аккер. Это ничего не стоит; доступ туда открыт каждому. Из этого можно вывести такое заключение: пока известный индивидуум не бросился в Аккер, степень переживаемого им страдания не перешла еще за границу выносимого (слышалось сомнительное «гм?»). Да, и вывод этот довольно-таки основателен. Но теперь дело в том, что, относительно говоря, очень мало голодного люда бросается в реку Аккер. Из этого я заключаю, что бывает страдание худшее, чем голод, еще того более невыносимое, еще того более безнадежное. В конце-концов, неправильно измерять страдание этих париев на наш собственный аршин. Они переживают совсем не то, что пришлось-бы переживать нам, очутившись в подобных-же условиях. Человек – существо эластичное, и привыкает ко всему.

– Только не к тому, чтобы голодать.

– О, да, до известной степени также и к этому.

– А вы пробовали сами?

– Разумеется, нет.

– Ну, в таком случае вам не следовало-бы говорить с такой уверенностью.

– Я сужу, основываясь на статистике Аккера.

– Может быть, голодные и не часто бросаются в Аккер, но это, вероятно, происходит вследствие того, что они все равно умирают и так. Я прочла в одной из газет, что на тысячу умирает второе или четверо больше бедняков, чем людей состоятельных.

Я (пожимая плечами):

– Каждому все равно придется рано или поздно умереть. Да и нет никакой особенной выгоды в том, чтобы жить.

– Да, но в таком случае, кажется мне, лучше было-бы их просто поскорее убивать.

– Пх!.. – пожатие плечами.

Пауза.

IX

Если-бы только мог я понять... Конечно, она вовсе не имеет в виду выйти за меня замуж; это я вывожу, как из различных её выражений, так и из самого её поведения. Разумеется, если-бы только думала она о чем-нибудь подобном, она держала-бы себя совершенно иначе, с гораздо большею сдержанностью; это вещь самая простая, – прямо зависит от прирожденного женского такта. Кроме того, в 24 года девушка, конечно, знает, что образованный человек не женится на девушке, которая при появлении своем, – перед ним-ли, перед другими-ли, – внушает хоть тень сомнения.

Итак, следовательно, только «для того, чтобы рассеять скуку?»»

Пустить к черту свое доброе имя, свою будущность, все, что только есть самого серьезного и святого для женщины... и только для того, чтобы рассеять «скуку» нескольких вечеров? Прилично-ли допускать это, если только есть возможность заподозрить что-нибудь подобное?

А ну, как за всем этим все-таки кроется влюбленность?

Вот-то было-бы мило, да! Нарушить сердечный покой женщины, не имея на это ни тени какой-бы то ни было причины или основания; сделать ее несчастной может быть на всю жизнь, не желая, да и не будучи в состоянии ничего дать ей взамен, ни даже воспоминания, которым могла-бы она

жить... поистине великолепно.

Ха, ха! Эх ты, блаженный дуралей! неужели опять принимаешься ты за старое? Она может оказаться «несчастной»? Уж не счастлива-ли она теперь? Неужели лучше умирать от скуки, чем умирать от горя? Понятие «нравственного» почти всегда совпадает с понятием «малодушного». Я «не хочу сделать ее несчастной», т. е. я знаю, что она, во всяком случае, будет несчастна, но «не хочу брать на себя никакой ответственности»: не хочу никакого неудобства для собственной своей особы. Молодая девушка должна погибнуть; так пусть ее погибает от скуки, – в этом я, во всяком случае, ни при чем!

Вот, что называется «иметь чистую совесть».

К тому-же тут не грозит никакой опасности. В ней совсем нет страстности, – этим отличаются многие, выдающиеся своею красотою, женщины. Потому-то, говоря относительно, и остаются они так часто не замужем. Потому-то также и говорится, что лучше всего умеют любить некрасивые. Пол сказывается в них сильнее. Красивые и холодные редко влюбляются, а следовательно столь-же редко пробуждают и ответную любовь; если и выходят они замуж, то, обыкновенно, из любопытства или ради общественного положения и т. п. Когда в один прекрасный день фрекен Гольмсен надоеет её девичество, она выйдет замуж за какого-нибудь богатого малого, который будет в состоянии доставлять ей лошадей и брильянты.

Вообще говоря, женщины любят не так, как мы. Любовь женщины обозначает, что ей нужен отец для её ребенка; а тот-ли, или другой окажется им, это еще не так важно. Не дается ей наилучший. – она плачет, и берет следующего за ним.

А если, в худшем случае, она и не выйдет замуж, то и тут опасность не так еще велика. Эти старые девы прекрасно пробивают себе дорожку в жизни. «Женский вопрос» в конце-концов, кажется, только плодит еще большее число старых дев. Для женщин есть один только существенно важный вопрос: вопрос пропитания; раз удастся им самим снискать себе пропитание, они посылают к черту и мужа, и супружество; так восхитительно хорошо чувствовать себя независимой от этих противных, тщеславных, самонадеянных мужчин.

* * *

Дамы постоянно употребляют эти торжественные, пустые, общие слова, которые до такой степени бесцветны и грубы. Одно из двух: или вещь «восхитительна», или она «отвратительна»; к человеку они чувствуют или «любовь», или «холодность»; по отношению к общим вопросам они или «увлекаются до безумия», или их «ненавидят» – с подчеркиванием. Одно из двух: черное или белое. Более тонкая характеристика их не интересует.

– «Да, но чего-же другого можете вы ждать от нас, раз мы ничему не учились?» – говорит Фанни.

* * *

Замечательно. Прежде Матильда как будто-бы даже несколько увлекала меня: она казалась мне такой наивной, ребячливой, так восхитительно легкомысленной; теперь же я сижу у неё и чувствую себя не по себе, и думаю о Фанни.

Сегодня вечером я принужден был, наконец, закрыть глаза и вообразить, что это ее держал я в своих объятиях...

Постоянно только то и представляется нам достойной целью наших стремлений, что не дается нам в руки.

* * *

Следует жениться пока молод; иначе не женишься никогда.

Отчасти сказывается все сильнее и сильнее собственная нерешительность, частью же слишком многое узнаешь – через посредство женатых друзей.

Великий Боже!.. что это за горемычные мужья! Как можно дольше стараются они сохранить счастливый вид и говорят:

– Женитесь же, друг мой; это единственное, что есть на

свете! – но раз удастся вам застать их где-нибудь в общественном месте за третьим стаканом (если только они посмеют разрешить себе третий стакан), – они пускаются во все тяжкия.

Они начинают говорить о «женщине». В общих фразах, в форме отвлеченных теорий. Они слышали, что иные мужья говорили... тот или другой известный женский врач полагает... я читал известную физиологию женщин доктора N N, и там сказано... – А если мужчины начинают в общих фразах говорить о «женщине», то тут стоит только наострить уши, потому что под этими общими фразами почти всегда скрывается нечто личное.

Мне знакомы два главнейших вида супружеских сетований.

Некоторые говорят: женщина холодна. У неё мало или совсем нет известного интереса; она делает это лишь по обязанности или из послушания. Тут они понижают голос до шопота и говорят: «Вы не поверите, до чего это общераспространенно; не один муж доверял мне, что...»

Впрочем, я и сам всегда это предполагал. Обыкновенно это просто-напросто обозначает, что данная барыня вышла замуж не любя... что разумеется бывает нередко.

Ну, это во всяком случае может быть довольно неприятно. Но кажется еще хуже приходится мужьям влюбленных в них жен; по крайней мере, если верить доктору Кволе.

Время от времени я встречаюсь с ним у Ионатана; но он

несколько упорен, и мне трудно заставить его вполне развернуться. Сегодня вечером однако же нам привелось просидеть довольно долго вместе за стаканом, и я до того приставал к нему, что наконец раззадорил его и заставил-таки хотя бы несколько высказаться передо мной.

Замечательный малый, крестьянин-студент, застенчивый, сдержанный, с широким неправильным лицом и маленькими, милыми глазами; обыкновенно весел; многое испытал и передумал и, разумеется, многое „пережил“; вообще интересный человек.

Он решился на смелый эксперимент, – женился на предмете своей юношеской страсти, но так поздно, что оба они, как он, так и она, к тому времени значительно уже поотцвели.

– Вообще, большинство мужчин находит, что женщины по натуре холодны, – подзадоривал я.

Он слегка пожал плечами:

– Дело в том, батюшка, что есть мужчины, не обладающие способностью разбудить женщину. А раз женщина проснулась в ней... то, вообще говоря, вряд-ли может быть повод жаловаться на холодность. Скорее напротив.

– Вот как? Но это меня удивляет.

– Женщина – носительница рода *par excellence*, уж это я знаю, – проворчал он. – И это вполне естественно.

Я спорил с ним до тех пор пока наконец не выяснил себе в достаточной степени его положения, после чего мне стало

как-то не по себе. Во всяком случае, она права, эта фрекен Бернер, с её браком по рассудку.

* * *

Всевозможные истории несчастных супружеств приходят мне теперь на память. Сегодня встретил я на улице агента Лунде, и при этом вспомнил, что он мне как-то рассказывал.

– Нет, вы послушайте! право-же это смешно: всю молодость проводим мы в погоне за женщиной, а в зрелом возрасте мы не знаем, что сделать, лишь-бы как-нибудь отделаться от неё. Потому-что последнее право гораздо труднее первого.

– Ну... неужели закон в этом случае недостаточно либерален?

– Закон? О!.. он достаточно глуп в этом отношении; но его всегда можно обойти; нет, тут, видите-ли, все дело в женщине.

– Ну, ей вы конечно могли-бы постараться надоест в достаточной степени.

Он засмеялся. – Да, надоест-то я ей надоел; но разойтись... – хо, хо, хо! Вот видите-ли, я пошел было даже на скандал. Да, на открытый скандал, да; так что она узнала о нем.

– Ну?

Он опять засмеялся внутренним, себе на уме смехом,

неприятно действовавшим на нервы.

– Она простила мне! – сказал он.

– Да, но в конце концов?

– О, да, раз за разом. Немножко поплачет; проделает один или два припадка с судорогами; а когда все приличия спасены, – видите-ли, тогда подносит она мне на подносе свое прощение... хо, хо, хо, хо!.. Человек интеллигентный: нельзя-же так-таки прямо оскорбить женщину!

– Гм...

– Раз довел я дело до того, что она воспроизвела даже последнюю сцену этой комедии, – знаете?.. ну, да, Нора. Убежала, видите-ли. „Слава Богу!“ подумал я, и пошел в клуб; там, извольте видеть, встретив доброго товарища, я хорошенько отпраздновал свое освобождение. Но когда я вернулся домой, – о, то, то, то!.. кто-же это сидит в гостиной, как не моя жена? – в полном дорожном костюме, заплаканная, безобразная, со следами отчаяния, разбросанными по всем стульям. Хо-хо-хо-хо!

– Ну, в таком случае вы могли просто-напросто...

– Тут, разумеется, проделала она первоклассный припадок, – истерика с судорогами, – самый первый сорт!

– Я, надо вам сказать, выдержал его с приличествующей мужчине твердостью: ну, думал я, ведь это уж в последний раз... Наконец, она сообразила, что эта метода перестала уже на меня действовать и не устраняла опасности, а потому она бросилась мне на шею... хо-хохо!.. и простила мне. Ох-хо!

да! она не лишена-таки юмору».

Я не помню уже всего, что проделывал этот малый, чтобы оградить себя от прощения своей жены, но у меня сохранились в памяти его последние меланхолические замечания:

– О, да, да! В свое время и я был веселый малый; добродушный, общительный... Но за эти шесть лет превратился я в такого... гориллу. Гориллу, да! Черт возьми! Ничего не поделаешь! О нет, раз уж навязал себе на шею женщину, то против этой болезни существует лишь одно лекарство: безобразное, долгое терпение. Или-же, если не умеешь владеть оружием, то добрая, прочная пеньковая веревка, да! О, да-да, правда это! Не для удовольствия или услады существуем мы, видите-ли, на земле! Но я, видите-ли, разозлился, и подумал: черт меня побери, если я не отделаюсь-таки от тебя, матушка! И таким образом я все-таки отделался от неё в конце концов!

Но хуже всего то, что этот малый и по-сегодня все еще не может отделаться от любви к своей жене...

Странная мысль преследует меня. Этот агент Лунде точь-в-точь второе издание отца Фанни (она рассказывает мне о своих родителях, когда я прошу ее рассказать мне о себе; несколько туманно).

Предполагая, что я женился-бы на Фанни (которая вероятно со временем превратилась-бы точь-в-точь в свою мать), то, по всем вероятностям, и я тоже с течением времени превратился-бы в подобного жалкого малого... в какого-нибудь г.

Гольмсена или агента Лунде, пропитанного коньяком и пивом и философствующего о «женщине»..

Но, черт возьми! ведь я же вовсе не собираюсь жениться на ней: что это еще за ерунда? Напротив, я именно на ней-то, на фрекен Гольмсен, и *не женюсь!*

X

Нет ничего любопытнее, как когда два бывших собутыльника, вместе прошедшие через огонь и воду и медные трубы, вновь встречаются по прошествии многих лет, при чем один остался верен своему прошлому, между тем как другой успел превратиться в пастыря душ. Сегодня вечером встретил я в обществе такого-же бывшего «головореза» и «питуха», как и я сам, – Фритца, иначе говоря, «лейтенанта», в образе достопочтенного господина пастора Лёхена.

Не одну ночь прогуляли мы вместе; – много ночей «просвистали мы с ним напролет», как выражались мы в то время, – и один Бог ведает, помнит-ли он теперь об этом. Он был молодцоватый, красивый человек, остроумный, франтоватый, с светлыми усами, как у военных (откуда и прозвище «лейтенант»), не дурак на выпивку и любитель приударить за девушками. Трудно было-бы найти лучшего товарища для кутежа: хорошо пел, хорошо рассказывал и так и сыпал островами и пикантными историями; сам сочинял песни и повести; кроме того, являлся отличным актером на студенческих спектаклях, и, я думаю, главный жизненный вопрос состоял для него в том: быть-ли ему поэтом, или актером.

Под конец, вероятно, хватил через край, и вдруг все разом порвал: превратился в солидного человека и погрузился в изучение теологии. Мы стали понемногу расходиться, каж-

дый заговорил на своем языке, и кончилось тем, что мы перестали наконец понимать друг друга. Вскоре мы довольствовались тем, что раскланивались друг с другом через улицу; его общество становилось все более и более избранным. Лицо его делалось все длиннее и длиннее, все бледнее и бледнее, наконец, исчезли усы, и кандидат теологии был готов.

По истечении многих лет я опять встретил его сегодня вечером. Он показался мне неузнаваем. Пастор – с головы до пят. Лицо, как будто, совсем новое, – широкое, как у духовных, обрисованное свойственными пасторскому званию удлинненными чертами; даже рот был у него другой, – широкий, ласково-серьезный, настоящий рот набожного пастыря душ; только наверху, в глазах сохранились кое-какие следы бывшего когда-то сорванца и головореза.

На меня встреча эта произвела такое впечатление, точно я вновь увидел человека, уже давно умершего, но который вдруг ожил. Вероятно, и он по отношению ко мне ощутил нечто в том-же роде; во всяком случае, он взглянул на меня раза два не без грусти: «Замечательно, до чего ты изменился, Грам». Я отвечал ему с иронией, которую он вряд-ли приметил: «Да ведь и ты тоже не совсем тот-же, что был когда-то, пастор».

– Ну, как-же ты, собственно говоря, поживаешь, милый друг? Он сделал доброжелательную попытку выказать себя таким-же собратом-человеком.

– Да, спасибо! Ничего себе, понемногу. Скучаю по семи

дней на неделе, но вообще, все-таки доволен судьбой.

– Гм, скучаю! улыбнулся он и снова превратился в пастора. О, да, и я тоже в свою очередь испытал это в былые годы.

– Будто-бы уж только в былые годы.

– Да, по правде сказать, я думаю, что слово «скучаю» не существует в словаре доброго христианина.

Старый придиричивый спорщик и говорун начал-было просыпаться во мне; но тут увидел я вблизи хозяйку; она смотрела на нас с несколько огорченным видом... и я сдержался. Я сказал что-то очень вежливое о том, что с добрыми христианами, вероятно, то-же, что с «нами», пережившими великую стадию «примирения с судьбой», только несколько на иной лад: мы знаем, что скука есть неизбежная принадлежность жизни и так и смотрим на нее, как на крест, даже без затаенного ропота; в конце концов начинает казаться, что это так и должно быть, как нечто нормальное, нечто такое, чего даже не замечаешь...

Но он находил, что нет. Это не примирение с судьбой. Напротив того. Это была надежда, вера, жизнерадостная бодрость.

– Каждый час, каждая наша минута занята, и посвящена такому делу, которое действительно стоит труда!

– Да, да, раз человек верит в это, – отвечал я, и переменил разговор. Мы расстались с «надеждой» еще раз встретив друг друга.

Нет сомнения, что он гораздо счастливее меня.

XI

– Вы, вероятно, несколько утомлены сегодня вечером, фрекен?

– Я?.. О... о, нет. Не особенно.

– Как-же собственно проводите вы дни? Спокойно, однообразно, и так – день за днем?

Несколько торопливо и как-бы уклончиво, она отвечает:

– Не будем говорить об этом.

Пауза.

Почему не хочет она говорить об этом? Кто может знать, что такое в сущности кроется в ней? О чем думает она в течение дня, чем интересуется; какие преследуют ее желания, стремления, мечты, воспоминания, огорчения?.. На основании всего, что говорит она, я догадываюсь, что ей живется далеко не хорошо. Но заставить ее высказаться, дать мне возможность проникнуть в её душу... от этого она постоянно уклоняется. Неужели она меня не понимает?

И меня сердит, что двое разумных людей могут идти таким образом бок-о-бок и оставаться так чужды друг другу.

Каково вообще живется этой молодой девушке, которая идет тут, рядом со мною, опираясь на мою руку? По временам мне сдается, что она опирается даже сильнее, чем это нужно, ищет повода прижать руку к своей груди... Я с удовольствием чувствую, как при этом пробегает внутри меня

теплая струйка и говорю самому себе: может быть, теперь недоставало-бы только поцелуя, чтобы лед был разбит....

Но поцеловать молодую девушку все равно, что подписать свое имя на векселе: захочу-ли я, посмею-ли и могу-ли принять на себя все, что вслед за тем последует?

И поцелуй минуется и лед остается по-прежнему.

– Да, ну вот я и дома.

– Да, всему настает конец.

– А вы, бедный человек, как далеко вам до дому!

Она берет меня за руку и ласково и тепло пожимает ее. – Благодарю за сегодня.

– Благодарю вас, фрекен. Когда-же встретимся мы опять?

– Когда хотите. Я делаю эту прогулку каждый день.

– Так до свиданья! покойной ночи!

– До свиданья!

Я медленно плетусь домой. Мне не для чего торопиться.

* * *

Нет, нет, только не писать. У меня накопилось слишком много такого, что надо обдумать.

Теперь это превратилось уже в привычку: стакан пива, папироску, а потом, усевшись в кресле-качалке, погружаешься в мечты... и это часами.

Кто она? Чего она хочет? Чего она добивается? Каким образом должен я держать себя в этом деле; когда-нибудь дол-

жен-же наступить этому конец... но, собственно говоря, это тоже не лишено своего интереса. По крайней мере, как этюд. В ней есть для меня нечто новое...

Следует-ли мне в данном случае поставить что-либо на карту? Не рискнуть-ли хоть сколько-нибудь? Может быть я ошибаюсь в ней, я нахожу в ней много странного; но, может быть, тем не менее... когда лед будет разбит... мне удастся окончательно понять ее? Может быть она все-таки... и не отчасти только, а вполне, по существу... та самая, с кем-бы я мог поладить... я, который и сам тоже не совсем похож на других людей...

И я сижу здесь часами, снова и снова переворачиваю в уме все вопросы и так без конца и начала. Результат постоянно получается отрицательный, но игра тем не менее соблазнительна.

И я ложусь в постель не ранее 2-х часов ночи с тем, чтобы проснуться на утро с расстроенными нервами.

Нет, только не писать...

* * *

Воскресенье, вечером.

Этот Кволе – заклятый пессимист.

– Они так наивны, эти цыгане, – взвизгивал он сегодня у Ионатана: они верят, будто брак может быть основан на любви... Слыхано-ли что-нибудь подобное? что такое любовь?

Это-же ничто иное, как чувство лишения, жажда... или как-бы это сказать?.. но, черт возьми, разве не перестает человек чувствовать жажду после того, как он напился?

– Но, заметил я, – если вино хорошо, то чем больше пьешь, тем больше хочешь пить.

– Да, но если будешь пить несоразмерно жажде, то наживешь катарр; это простой физиологический закон.

– Но катарр излечивается, и человек снова принимается пить.

– Так это привычка пить, и в том-то и суть деда, батюшка: брак основывается не на любви, а на привычке. Люди часто ни на грош не дорожат друг другом, а между тем все-же держатся друг за друга, часто в силу привычки, которая, конечно, та-же...

(Пожимает плечами).

Георг Ионатан вставил в глаз свой монокль и сказал:

– Брак есть удобное учреждение для тех, кто больше не любит.

– Господи Боже! – заговорил я, – оставим в стороне эти супружеские выходки. Ведь мы-же все знаем, что существуют отношения, основанные на любви, которые остаются прочны и неизменны.

– *Indeed*, – отвечал Ионатан, – бывают женщины, обладающие этим талантом.

– Каким таким талантом? – зарычал Кволе.

– Это вопрос женского такта, – заметил Ионатан и с удо-

вольствием выпустил дым через нос, – природный дар, присущий, однако же, далеко не всем. Известного рода сдержанность, *my lords!* Сдержанность как-раз в меру, одинаково далекая как от жеманства, так и от его противоположности.

– Мужчину, – продолжал он, – надо держать до известной степени в неуверенности. В нем надо поддерживать иллюзию, будто он постоянно вновь побеждает свою красавицу, что ему приходится вновь завоевывать себе её благорасположение, и это постоянно; он должен чувствовать себя победителем, человеком, заслужившим предпочтение, постоянно вновь избираемым из среды стольких-то и стольких-то соперников. Раз получил он уверенность, игра утрачивает для него свой интерес, а если женщина будет приставать к нему с своей привязанностью, она пробудит в нем к себе сожаление. Между тем женщина никогда не должна допускать в мужчине такой мысли: бедная, ведь у неё никого нет, кроме меня! – Если хочешь, чтобы тебя ценили, то надо самому знать себе цену; женщины, хорошо усвоившие себе это правило...

– Следовательно, искусные кокетки, – пояснил я.

– Да.

– Наша северная женщина для этого слишком честна, – с улыбкою заметил Кволе.

Мне они показались неприятны. Что за жалкие люди эти мужчины, которые не в состоянии выяснить себе даже брака.

XII

Мы совершали свою самую обыкновенную прогулку вдоль шоссе Лабру.

Фиорд спокоен. Всюду снег. В сероватом свете сумерек, засыпанные снегом рассеянные горы зияют нам навстречу, страшные и пустынные.

– Точь-в-точь такова и жизнь, – сказал я, – разверзшаяся, замерзшая, наполненная снегом рассеянная, с полусветом сумерек и серым, снежным небом. Грустно быть одиноким путником среди такой пустыни.

– Да, – воскликнула она, – хорошо быть вдвоем! – и поспешно добавила: – одна, я положительно не в состоянии гулять, – между прочим, я очень боюсь темноты.

– С вами, женщинами, это всегда так. Тут, вероятно, называется потребность в защитнике.

– Уж не знаю, что это такое, но я всегда думаю о том, что мне вдруг может привидеться что-нибудь... как-же это называется... Галлелу...

– Галлюцинации, да; привидения, как говаривали встарину.

– Да, но, между прочим, разве вы так уверены в том, что не существует привидений?

– Гм! Ах, если-бы существовали, – чуть было не сказал я.

– О, нет, к чему-же?

– Ну, время от времени мир представляется мне как-бы чересчур патентованным. Все в нем так страшно разумно и правильно. Одна математика да лошадиные силы. Ну, это разумеется хорошо... Боже избави, это даже чересчур хорошо... Впрочем, для вас это не опасно.

* * *

Она. Не правда-ли, это был Блют, – тот человек, которому вы поклонились? Живописец?

Я. Да.

Она. Тоже хорош, не правда-ли?

Я. Как-так хорош?

Она. Такой... Дон-Жуан?

Я. О, да. Он знал толк в красоте.

Она. Пх!.. тоже выражение!

Я. По крайней мере довольно верное.

Она (готовая в битву). Ну, на это можно смотреть с различных точек зрения.

Я (равнодушно). Ба!

Она. Они вероятно не так легко смотрят на это, – те, которых сделал он несчастными?

Я. Ха... несчастье... это такое относительное понятие. Мне тоже случалось любить несчастливо. Но я могу сказать, что ни одна из какой-нибудь пары счастливых встреч, выпавших на мою долю, не увлекала меня до такой степени и не

была для меня так священна и дорога, как эти «несчастные» истории. Подобная несчастная любовь есть нечто такое, что способно расшевелить вас до глубины души; она дает воспоминания, которыми человек живет потом целые годы. Настоящая любовь, вообще говоря, есть несчастная любовь.

Она (коротко, сухо). Замечательное изречение.

Я. Но тем не менее, это так.

Она (помолчав). Вам не приходилось оставаться с позором и ребенком на руках.

Я. Если существует женщина, которая стыдится своего ребенка, то она заслуживает, чтобы ее послали к черту.

Молчание.

* * *

– Оптимисты – в сущности, что это такое?

– Ну, люди, верящие в существование добра в жизни, в победу добра и т. д.; люди, которым, вообще говоря, кажется, что мир хорош.

– В таком случае, я оптимистка... по крайней мере, теперь. А вы разве не оптимист?

– Ну! Надо согласиться, что мир мог-бы быть и хуже. Но тем не менее, я не закрываю глаз, Господи Боже! Короче говоря – одно из двух: или приходится сказать миру – прощай, или-же необходимо как-нибудь приспособиться к нему; ведь хныканьем все-равно ничему не поможешь. Нече-

го «рюмить», как называет это Георг Ионатан.

– Это, конечно, верно.

– Эти оптимисты... да, очень хороший они народ. Без них далеко не уедешь. Но... все-же надо сказать, что они не до-вольно основательны: недостаточно глубоко вдумываются, может быть иногда даже мало требовательны. Часто это лю-ди, не обладающие достаточным мужеством, чтобы смотреть действительности прямо в глаза, и которые, вследствие это-го, чтобы держаться подальше от неё...

* * *

– Но если-бы Бога не существовало, то в таком случае ка-ким образом люди дошли-бы до веры в него?

– Гм; иногда мне кажется, что Бога изобрели лишь для того, чтобы было перед кем открыть душу, и перед кем, сле-довательно, не было-бы нужды играть комедию.

– Ух! неужели вы думаете, что перед всеми другими мы играем комедию?

– Разумеется.

– Даже если-бы у вас например был кто-нибудь, кого-бы вы очень любили?

– В таком случае я стал-бы лгать, чтобы казаться инте-реснее, а если-бы любовь прошла, я все-таки продолжал-бы лгать, потому что у меня, вероятно, все-таки не было-бы охо-ты разоблачать себя перед этим человеком.

Пауза.

– Перед самым собой, добавил я, разумеется, лжешь всего больше. Человек просто-таки бывает вынужден на это: заглядывать в самого себя и видеть себя таким, «каков он в действительности есть», чересчур уж безобразно.

Пожимаю плечами.

* * *

– Если-бы вы были так добры и рассказали-бы мне о всех тех удивительных вещах, которые открывает нынче наука!

– Ба!.. Раз вы так ставите вопрос, то... Вы конечно не пожелаете, чтобы я стал рассказывать вам о телефонах или спектральном анализе?

– Нет, но ведь это-же и не самое главное...

– Если-же вы меня спросите, к каким результатам вообще приходит теперь наука, то мне придется ответить вам, что они в большинстве случаев отрицательные: она открыла, что то, то и то, и то – вовсе *не* таково. А это в сущности само по себе тоже очень важно.

– Я этого не понимаю.

– Дело в том, что, каждый раз, открывая такую новую неизвестность, люди вместе с тем соскабливают с себя какую-нибудь лишнюю глупость. (Смех)...

Таким образом в конце концов можно оказаться порядочно-таки пообскобденным!

– Да, да; конечно, оказываешься несколько пообчищен-
ным.

XIII

Февраль 85 г.

Зачем это я пристаю к ней и мучаю ее этими инквизиторскими расспросами о её прошлой жизни и т. п.? Бог ведает. Это до крайности смешно. Ведь я же не имею на это никакого нрава. Никакой цели. Просто-напросто не могу оставить ее в покое.

И чем меньше рассказывает она, тем любопытнее становлюсь я. Очевидно, существуют истории, которые она скрывает от меня, – да и почему-бы, скажите на милость, не скрывать ей их от меня?.. Но тем не менее мне *надо* знать их. Я расспрашиваю и допытываюсь, переспрашиваю, задаю перекрестные вопросы, прибегаю ко всякому доступному мне нравственному давлению и всевозможным уловкам судебного допроса... Это отвратительно, низко; но что-же мне делать?

А она до такой степени увертлива, эта девочка. Рассказывает мне всевозможные вещи, которыми я нисколько не интересуюсь; отделяется рассказами о родственниках, знакомых, о разных шутках, проделываемых в женском обществе, и т. д., ускользает из расставленных мною ловушек и западней с ловкостью, приводящей меня в полное недоумение. Или она в высшей степени невинна, или-же, – так как очень трудно допустить это в такой взрослой и вовсе не теп-

личного воспитания девушке, – она гораздо более опытна, чем мне хотелось-бы думать.

Знает-ли она, например, до какой степени все это раздражает мужское любопытство, возбуждает воображение... Вся эта неясность, эти полупотемки, полусомнения, допускающие всевозможные предположения и во всех направлениях?

Всего больше лукавства может быть в этой «наивной», простодушно-открытой манере, с которою рассказывает она мне о своих многочисленных «друзьях» и «товарищах». Разумеется немислимо, чтобы не скрывалось чего-нибудь несерьезнее за всеми этими товарищескими отношениями с молодыми людьми, с которыми всюду разгуливала она по лесам и полям – точь-в-точь так-же, как теперь со мной. Да, но, ради Бога, неужели наши отношения недостаточно благопристойны? Да, да; но допустим, что это *моя* заслуга... Ведь не все-же эти молодые люди были так стары и так добродетельны как я. Знаю-ли я, что сделала-бы она, если-бы я в уединенном месте вдруг застал ее врасплох с моею любовью? – Так это вульгарно и в сущности такое жалкое, дешевое кокетство, – вся эта манера окружать себя какою-то непроницаемой таинственностью.

Впрочем, в часы наших прогулок именно эта-то заповедь и выплывает постоянно на поверхность. Я по возможности оправдываю мужчин и говорю, что это еще не так ужасно, и, слава Богу, она способна даже до некоторой степени допустить это.

– Я хорошо знаю, – говорит она, – что не мало простых людей, которые ходят к таким... в такие каторжные места, но чтобы человек, который желает считаться образованным, который появляется потом в порядочном обществе и разговаривает с... нами, женщинами... подает нам руку... что такие люди могут пожелать... что они могут... находить удовольствие в том, чтобы посещать подобных женщин... это кажется мне до того отвратительно, что я готова плюнуть! Нам, женщинам, свойственно чувство самоуважения, которого вы, конечно, не понимаете, чувство самоуважения чисто физическое... так что многое такое, что для вас возможно, для нас является прямо противоестественным, прямо – непреодолимым; и все эти продажные женщины, которых вы почти что берете под свою защиту, они должны были до такой степени пасть, так бесследно подавить в себе все человеческое, женственное, даже простое чувство чистоплотности, что от них положительно ничего не остается, кроме... бездушного тела; и тут представить себе, что... Нет! Грам, вы не можете пытаться оправдывать подобные вещи.

Она преследует меня своими понятиями, пока я не начинаю сердиться и не преподнесу ей порядочной дозы из истории нравственности. Потом мне становится досадно на самого себя за то, что я вздумал рассказывать ей обо всех этих безобразиях; неприятно знать, до какой степени сильно действует такая суровая правда на неподготовленный ум; она во всяком случае способна во многом разочаровать ее... Прав-

да, вообще говоря, часто так грязна, что следовало-бы щадить от неё более тонкия натуры. Но что прикажете делать, если эти более тонкия натуры, в благодарность за оказанную им пощаду, становятся глупы до невозможности иметь с ними какое-либо дело?..

* * *

Точно какой-нибудь непозволительный недостаток техники в прекрасной в других отношениях картине, сердит меня то, что она была к себе так недостаточно строга, имела так мало женской щепетильности. Разгуливать по окрестностям то с тем, то с другим, рисковать стать жертвой любого подозрения, любой сплетни, не задумываясь губить свое доброе имя... ну, скажите на милость, что такое женщина, если она потеряла свое доброе имя? Господи Боже! Пусть «добродетель» её будет для меня как угодно несомненна; это в сущности весьма мало относится к делу; но уверенность? Интеллигентный человек совершенно спокойно относится к тому несомненному факту, что жена его, прежде чем стать его женою, была уже замужем за другим; но неуверенность, сомнение, возможность подозрения; этот вечный, грызущий вопрос, вот с чем не может он никак помириться. Уж не расточаю-ли я своего доверия перед комедианткой, обманывающей меня в глубине своей души? Никогда не утрачивающий окончательно детских свойств, вечно ищущий твердой

почвы мужчина всегда мечтает найти в своей возлюбленной свою мать, святую женщину, в объятиях которой он находил всегда такую бесконечную уверенность и безопасность. Девушка, не имеющая об этом ни малейшего представления, не годится для супружества, она зловредное животное, способное принести с собою одно лишь несчастье.

Смеются над приличиями. Да и следует смеяться, поскольку люди думают при этом об обычае, запрещающем молодой девушке любить. Но поскольку приличия стремятся оградить ее от сомнений в ней, от возможности даже безосновательного подозрения, постольку все правила их и даже смешные стороны оказываются одним из самых необходимых явлений, существующих на свете. Когда (как во Франции) молодая девушка постоянно находится под чьей-нибудь охраной, никогда не выходит из дому одна и т. д., мы, заклятые демократы и мужики, не можем удержаться от смеха, но за всей этой комедией скрывается нечто весьма серьезное: её собственное счастье, а также и счастье её будущего мужа и её детей обеспечивается таким образом от всяких страшных случайностей. Молодая девушка, проведшая полчаса с глазу на глаз с мужчиной, обыкновенно, тем не менее, сохраняет всю свою добродетель и заслуживает полного уважения; но *могло-же* случиться, что она принадлежала к тем, что ищут свободы для того, чтобы злоупотреблять ею; она *не* застрахована уже больше от сомнений; она уже не prima, не перво-классная А... Я могу верить в нее; но, в таком случае, вера

моя не более как вера; каждая малейшая случайность способна отдать меня во власть сомнению – и вот, мы оба оказываемся несчастны. Несмотря на всю её добродетель! Ведь *есть-же* возможность думать, что она была настолько ловка, что разыграла комедию! Вообще, в таком случае, к ней всегда нечто пристанет, нечто такое, что невозможно уже устранить именно потому, что нет свидетелей, – *вероятие* вероятности, – *мыслимость* неммыслимого, *тьень* тени... а там, где есть любовь, глубокая, нежная, чуткая любовь, а также несколько расшатанные нервы... этого будет довольно.

Для меня, по крайней мере, уже этого одного было-бы достаточно для того, чтобы исключить всякую возможность мысли о браке, напр., с фрекен Гольмсен. Может быть, то-же самое случится и с следующим её ухаживателем. И, таким образом, эта прелестная девушка, по всей вероятности, сама олицетворенная честность и прямота, рискует на всю свою жизнь остаться не замужем, – или, может быть, бросится на шею какому-нибудь неотесанному мужлану, – и только благодаря тому, что она вообразила, будто на этом свете женщине достаточно одной честности.

Я хочу покончить с этим делом. Теперь и я, в свою очередь, только и делаю, что компрометирую ее. Компрометирую ее хуже всех моих предшественников... Она положительно не имеет об этом никакого понятия. Потому-то и следует взяться за ум мне, который понимает это. Допустить ее до того, чтобы она окончательно потеряла свою репутацию,

лишить честную женщину единственного её достояния, погубить все её планы, все её будущее, и это, не будучи в состоянии решительно ничем вознаградить ее... Это просто-напросто значит поступить недостойно *джентльмена*. Я все время чувствовал это; теперь-же это мне совершенно ясно; следовательно...

XIV

Это безнадежно. Даже если-бы я был тверже, чем я в действительности есть, – стоит мне только случайно встретить ее, – и все кончено; положительно нет ни малейшего основания быть невежливым. А стоит мне только заговорить о её репутации, как она начинает сердиться.

– Будьте спокойны и предоставьте мне самой заботиться о своей репутации, говорит она, не без презрения во взгляде и голосе.

Когда я потом возвращаюсь домой после подобной прогулки, я засиживаюсь один до поздней ночи, раздумывая, мечтая, недовольный, больной. Что мне делать? Черт возьми, не могу же я так расстаться с нею. Мысль о женитьбе исключена. Как же иначе можно было бы оформить это, чтобы оно не показалось чересчур уж безобразным?

Снова и снова перебираю я одни и те же мысли; в том же самом порядке все быстрее и быстрее обращаются они в моей голове, пока мозг мой не начинает болеть; постоянно равно интересный и постоянно равно безнадежный вопрос; я не замечаю ни часов, ни времени и сижу, до такой степени углубленный в самого себя, точно я сам бог, правящий миром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.